

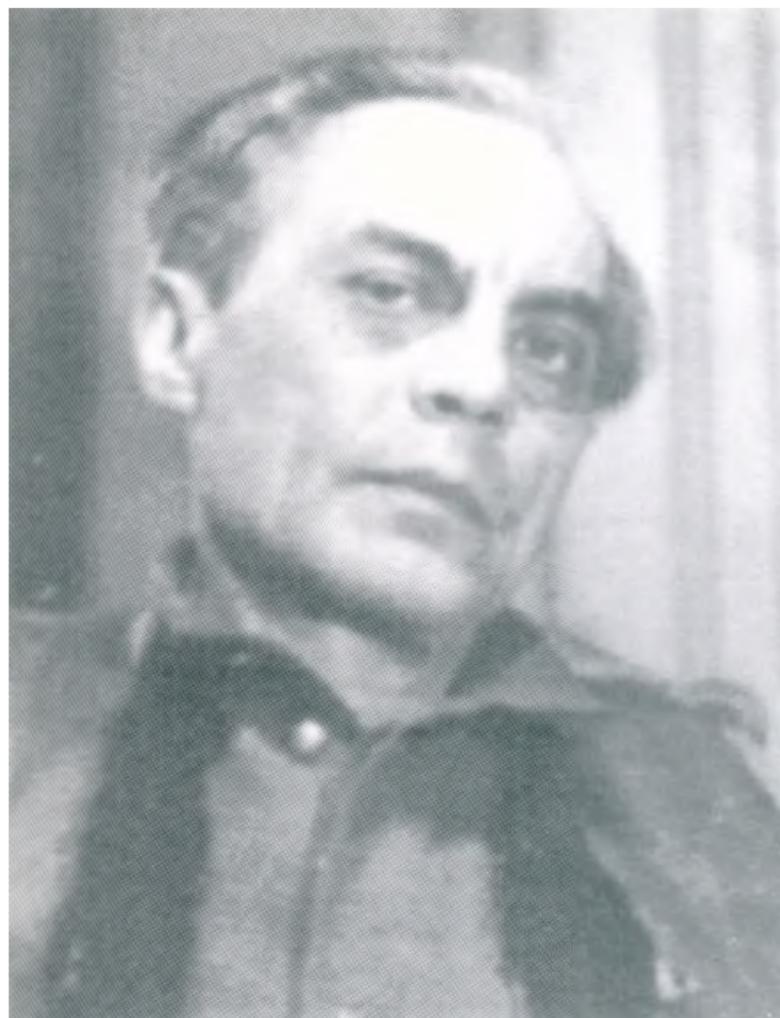
МАЛЫЙ СЕРЕБРЯНИЙ БЕК

ВЛАДИМИР  
НЕЙШТАДТ

ПЕЙЗАЖ  
С ЧЕЛОВЕКОМ



М. В. В. В.



МАЛЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

**ВЛАДИМИР НЕЙШТАДТ**

**ПЕЙЗАЖ С ЧЕЛОВЕКОМ**

*Стихи и воспоминания*



Водолей Publishers  
Москва – 2008

ББК 84Р7-5  
Н46

**Редакционная коллегия серии:**

Р. Бёрд (США),  
Н. А. Богомолов (Россия),  
Е. В. Витковский (Россия, *председатель*),  
С. Гардзонио (Италия),  
Г. Г. Глинка (США),  
Т. М. Горяева (Россия),  
В. В. Емельянов (Россия),  
О. А. Лекманов (Россия),  
В. П. Нечаев (Россия),  
В. А. Резвый (Россия),  
В. А. Синкевич (США),  
Р. Д. Тименчик (Израиль),  
Л. М. Турчинский (Россия),  
Л. С. Флейшман (США)

Составление, послесловие *В. Калмыковой*

Научный редактор *Е. Витковский*

ISBN 978-5-9796-0117-5 © В. Калмыкова, составление,  
послесловие, 2008  
© Водолей Publishers, 2008

*Памяти Ирины Владимировны Фалък*



---

## ИЗ КНИГИ «ОТРЕЧЕНИЕ»

Стихи 1925–1926 гг.

Москва

---

Есть тяжесть слов. И кто, непобежденный,  
Сумел поднять на плечи их закон?  
Так на Олимпе пал изнеможенный  
Зевс, отягченный тяжестью имен.

*Из неуд<авшегося> стих<отворения >*

### ВИНОГРАД

Кореиза виноградники,  
Дароносная лоза!  
Что вкуснее, что отраднее –  
Виноград или глаза?  
Сетью жаркой и магической  
Сердце спутал небосклон.  
Видишь – сверху романтический  
Отрывается балкон?  
Не ходи дорогой жаркою,  
Влагу сердца пожалей,  
С романтической татаркою  
Не томи напрасных дней!  
Сердце бьется, как молитвою,  
Той молитвою, что знал

В день святой, как под Джалитою  
Я татарку повстречал.  
Виноградники Ахметовы...  
Сок катится иль слеза?  
Целовал я беззаветные,  
Недозревшие глаза. –  
Ах, недаром тень истончилась,  
Промелькнула и ушла.  
Знать, давно уже закончилась  
Медоносная шашла.  
Нет, не справится с угрозами  
И не вынесет подъем  
Отягченное угрозами  
Сердце бедное мое.

*30 окт. 1925 г.*

## **ЧАС ЗАВЕТНЫЙ**

Дерево устало шевелиться,  
Стосковался по покою лист,  
Даже вещи могут утомиться,  
Даже птичий непорочный свист.

В пестрых красках возникают тени,  
Всё сравнил тяжелый полумрак.  
Вол согнул усталые колени,  
И усами не поводит рак.

Потемнели – спать ложатся воды.  
Час заветный, час ночной пришел...  
Нет, не нужен человеку отдых,  
Потому что человек не вол.

27 окт. 1925

## КАТУЛЛ

*Даниилу Гофману*

Odi et amo...

*Catullus*

Мы дорожим своею мукой,  
Лелеем празднество тоски.  
Расстанься и, влеком разлукой,  
Глаза на повороте вскинь.

Противоборствуя измене  
И взором обращаясь вспять,  
Запомни, что без сновидений  
Мы не имеем права спать.

Когда же, вопреки завету,  
Ты будешь успокоен сном,  
Поверь латинскому поэту  
И горечь разбуди вином.

Сомкнутся пьяные разгулы  
Противоречьями не раз...  
Так некогда в строке Катулла  
С любовью ненависть сошлась.

Но, подчинясь греховной злобе,  
Останься и в паденьи смел.  
Геометрических подобий  
Не начерти из новых тел.

*27 окт. 1925*

\* \* \*

Лавры, кипарисы по аллеям.  
Бережные, бережные дни...  
Мы страниц рассыпанных не склеим,  
Только вспомним вдруг и пожалеем  
Динамитом взорванные дни.

Но, разлуки одевая в слово,  
Заворачиваясь в ленту лет,  
Не зови на празднество другого  
И скажи привратнику сурово:  
Для гостей меня на свете нет.

*28.10.1926*

## 8-АЯ ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ

Пленительно – глазами побороть  
Пространства раскатившиеся дали.  
Крылами ширится, бунтует плоть.  
Ах, неужель мы некогда летали!

Но глаз не повернет чреды времен,  
Влекущейся медлительно за нами...  
Вот полотно истрепанных знамен  
Испещрено моими письменами.

Где каждый знак пойму лишь я один,  
И этот знак другого не встревожит,  
И череду протравленных годин  
Другой понять не смеет и не может.

Лишь молодость не любит вспоминать –  
А может быть, и нечего ей вспомнить –  
Ведь нужно много тропок уминать,  
Чтоб прошлое казалось нам огромней.

Воспоминаний отреченный знак  
Есть символ старости – мы ныне стары.  
Осмью годами вытерт нежный лак,  
И мы писать садимся мемуары.

*7 ноября 1925*

*Поезд Севастополь – Москва*

## НОЯБРЬ

Туман и грязь... На небе злые пятна...  
А воздух накурился табаку.  
Мне эта жизнь до ужаса понятна,  
Как узел на канате моряку.

В тумане город до смятенья гулок,  
В тумане все похожи города.  
За поворотом в темный переулок  
Минута пропадает навсегда.

Куда спешить? – но все спешат куда-то,  
И целый день: «Простите, опоздал!»  
И жизнь – как для проезжего солдата  
Холодный и заплеванный вокзал.

Глумится ночь: не спи! Одним лишь веком  
Имеешь право чуточку вздремнуть. –  
Как глупо – называться человеком  
И уставать и жаждать отдохнуть!

А утром – темнота, изжога, сода...  
И в голове всклокоченной встает  
Предметов неотложных обихода  
Неисчерпаемый, ненужный счет.

*18 ноября 1925 г.*

## КАРКЛИН

Мне говорят, что я похож на деда,  
Но я не знаю, я его не видел.  
На выцветшем куске дагерротипа  
Я разглядел лишь грустные глаза.  
Я не видал его глаза живыми,  
Когда, склонившись низко над роялем,  
Он сочетал разрозненные звуки,  
Гармонизируя линию мелодий  
В каноне строгом трехголосых фуг.  
Я не видал его руки умелой,  
Роняющей по клавишам удары,  
Но с детских лет, не ведавших мелодий,  
Не сохранивших радостей и звуков,  
Я помню этот дедовский рояль.  
Он много лет стоял у нас в гостиной,  
Заброшенный и строго молчаливый;  
Лишь изредка, когда тряслися стены,  
Он жалобно звенел одной струной.  
Я полюбил «комод на толстых ножках»,  
Я привязался к «черному слоненку».  
И вот сейчас, едва глаза закрою,  
Я вижу эти стертые педали,  
И клавишей желтеющих морщины,  
И временем изжеванную крышку,  
С которой редко обметали пыль.  
Я с ним играл, как с добрым, старым дедом,  
И не боялся «спрятанного духа»  
(Мне про него рассказывала нянька),

Его позднее, уже слагая буквы,  
Я называл «волшебником Карклин».  
И каждый год, когда кончалось лето  
И из деревни возвращались в город,  
Я прибежал к заброшенному другу,  
Здоровался с волшебником Карклином  
И обнимал пузатенькие ножки  
Товарища моих печальных игр.  
Но день пришел – печальный и суровый,  
Пропахнувший рождественскою хвоей.  
Был унесен Карклин – куда, не знаю;  
Был выслан он за выслугою лет.  
Я невзлюбил соперника Карклина,  
Который выжил добренького деда  
И засиял заносчиво и гордо  
Холодным лаком черного презренья.  
И буквы свеже-золотые – «Блютнер» –  
Не отразились в сердце у меня.  
Нет, я не предал памяти Карклина!  
Вот отчего не стал я музыкантом  
И не сумел преодолеть «Ганона»,  
Хоть дед мой был отличный музыкант.

*1.1.1926*

## **САД**

Как сладких зерен череду  
Вдруг горькое зерно отравит,

Так в зарастающем саду  
Пустая горечь ныне правит.  
И каплет ядовитый сок  
Неназываемого зелья,  
Всё укорачивая срок  
Для горестного новоселья.  
И над запрудой веет сном,  
Где брошен полустертый жернов –  
Оскудевающим умом  
Дробить остаточные зерна.

*9.1.1926*

## **ПИСЬМО**

Послушай, посланье не надо  
Заклеивать в синий конверт...  
Мне столько доставил услады  
Лягушечий звонкий концерт.  
Как пахнет неистово тиной  
От водорослей на пруду,  
К тебе не приду я с повинной,  
И завтра опять не приду.  
Я плавал за старой купальней,  
Высматривал темное дно,  
Где раки устроили спальню,  
Найдя под корягой окно.  
Топорщилась мать их старушка –  
Был рак с ней почтительно суч.

Я слышал – хвалилась лягушка,  
Что тина нежнее, чем пух.

*10 янв. 1926*

## **ВЕЧЕ**

### **1**

Скрылось время пышных од.  
Плавится медь в стихе Алкея.  
Жарко дышит день и год,  
Всё горит, в годах пламенея.  
Знаю: вечны дыба и кнут.  
Знаком мести любой отмечен.  
Совершается правый суд  
Новгородского буйного вече.

### **2**

Схвачен и связан, словно вор,  
Паутиной заткан вечер.  
Суд извечно прав и скор.  
Пауки сползлись на вече.  
Страшен шорох паучьих лап,  
Страшен уху шепот паучий...  
Отвернись, кто духом слаб:  
Скоро муху будут мучить.

*22.1.1926*

## ЕЩЕ РАЗ КАТУЛЛ

Passer deliciae meae puellae.

*Catullus*

В отреченьи я прозрел,  
Кто прозрел, тот дышит легче.  
Ты один воробья воспел,  
Соловьем побрезговав певчим.  
Здесь висит приказ и печать.  
Прохожу спокойно мимо,  
Чтобы гимн воробью слагать,  
Воробью своей любимой.

23.1.1926

## СМЕРТЬ ГЁТЕ

Mehr Licht!..

День проснулся – словно нищий  
С воспаленными глазами.  
Усмехается кладбище  
Похотливыми крестами.  
Мефистофелем хранимый,  
Доктор Фауст мучит Грету...  
«День иль вечер? Больше свету!»  
И прилег на грудь любимой.

«Хочешь вместе? Хочешь рядом?» –  
Он спросил ее негромко.  
День мигнул косящим взглядом  
И рассыпался в потемках.

29.1.1926

## ОТКЛИКИ ПЕРСИЮ

1

Quis expeditit psittaco suum χαίρε...

*Prologus Persii*

Склонились позамшелые века,  
Другим векам подставив плечи.  
Обречена усталая рука,  
Несущая следы увечий.  
Еще чуть-чуть – и оборвется нить,  
И голос прозвучит: «Не надо!»  
Зачем непосвященному хранить  
Воспоминания Эллады?  
Язык богов темней, чем песий лай,  
И притаился, уязвленный.  
И не промолвит «чЪЯсе» попугай,  
Скуластым варваром вскормленный.

4.12.1926.

Nec fonte labraprolui caball  
 .....  
 Corvos poetas et poetridas pica  
 Cantare credas Pegaseium melos

*Prologus Persii*

Слезами порожденная Пирена  
 Косноязычного теперь не исцелит.  
 Кто проклял прокаженное колено?  
 О, неужели влага Иппокрены  
 Потрескавшихся губ не освежит?  
 Забудь, забудь! В источник лошадиный  
 Не опускают ныне теплых губ.  
 И потому несытый и звериный  
 Несется голос, оскверняя труп.  
 Певец насмешливый, певец жестокий,  
 Нет, не сбылось пророчество твое!  
 Стрекочут поэтессы, как сороки,  
 И каркают поэты – воронье.

24.12.1926

### ПРЕДЧУВСТВИЕ

Вот так сидел, зевал, молчал,  
Млел, наслаждаясь тишиною,  
И ничего не примечал  
За полнокровною луною.  
Как вдруг заметил на луне  
Зашевелившиеся пятна,  
И крики донеслись ко мне  
Полузадушенно, невнятно.  
Как будто стон, как будто зов,  
А может быть, совсем другое...  
Пощупал сердце, пульс – здоров,  
Кружится кровь без перебоя.  
Но почему-то стал я глух  
Вдруг ко всему. Всё стало ново.  
И странно поражает слух  
С луны сорвавшееся слово.  
И я как будто на следу.  
Как пес на дичь. Я в стойке замер.  
И, весь напрягшись, жадно жду,  
Жду сердцем, носом, жду глазами.  
И я немножко ошалел  
От сладостного напряженья...

Сомнения нет: я заболел  
Предчувствием стихотворенья.

1925

## **ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ШЕСТИТОМНИК БЕХЕРА**

Листая Бехера, я снова пережил  
Волнение дней, уже ушедших в дали,  
Когда мы многого от жизни ждали  
И жили оба, не жалея сил.  
Чего жалеть, когда они играют,  
Когда затем, чтоб меньше видеть снов,  
Мы для работы (так вот и сгорают!)  
У ночи занимали икс часов...  
Теперь не то: мы силы сберегаем.  
Усталый мозг. Года, года, года...  
И не вперед мы, а назад считаем  
Десятилетия нашего труда.  
Уж виден край, кончается дорога,  
Итогу время – подведем его:  
Он сделал много, очень, очень много,  
А я почти не сделал ничего.  
Но разве я завидую поэту?  
Я сам поэт и знаю меру сил.  
Я сам поэт – благодарю за это!  
Я большего у жизни не просил.

## ОВЛУР! ОВЛУР!

Овлур свистнул за рекою.  
Велит князю разумети:  
Князю Игорю не быть.

*Сл<ово> о п<олку> Иг<оре>ве*

Неуютно в половецкой веже,  
Пахнет салом закопченный чан.  
Перед ханом лебезят невежи:  
Груб и злобен половецкий хан.

Гаркнет он, и все валятся в ноги,  
Лижут ханский расписной чувяк.  
Ханской плети яростны ожоги –  
Властвует и тешится Кобяк.

Как трава, примята и прибита  
Жизнь тяжелой ханскою рукой.  
Ходит плеть, свирепствует обида,  
Но Овлур не свистнет за рекой.

*24 мая, 1938 г.*

\* \* \*

Когда лисица попадет в капкан,  
Она себе перегрызает лапу –

Пусть кровь и мука, только бы свобода...  
.....  
Завидую я мужеству лисицы.

## ПАМЯТНИК ГЁТЕ

На площади против величественного  
здания Баварского Банка находится  
памятник Гёте.

*Путеводитель по Мюнхену*

Бессмертная слава для смертных приманка,  
Бессмертным на бронзу выдана льгота.  
Наш Гёте! – И против Баварского Банка  
Поставлен тайный советник Гёте.

«Но я же писатель!» – Да брось упираться,  
Влезай на подставку, довольно чиниться!  
Размаху банковских операций  
Не смеет писатель не подчиниться.

Текущий... Онкольный... Сличите, проверьте...  
Счета за счетами, нули за нулями.  
Пожалуйте в кассу: ваш счет на бессмертье  
Оплачен бронзовыми векселями. –

Выходит из банка последний держатель,  
Спускают со звоном железные шторы,

И банк сторожит одинокий писатель,  
Пока не проснутся баварские горы.

Баварские горы! Целебную влагу  
Несли вы питомцам имперских гимназий.  
Я вас прочитал, как германскую сагу,  
Я вас изучил, исходил и облазил.

Ярились веселые летние грозы.  
Срасталась спина с загадычным рюкзаком.  
Я прыгал по тропам, как горные козы,  
Взбирался улитой и пятился раком.

Баварские горы!.. Но время в долину –  
Жевать схоластическую резину.  
И снова визиты к промасленной тете,  
И снова оплаченный банковский Гёте.

И снова казармы, и некуда деться  
Ни мне, ни тебе, ни железному Гецу.  
И горько смеется старик Мефистофель,  
Беззубо смакуя протертый картофель...

---

# РУКОПИСЬ ДЛЯ ТРЕХ ДРУЗЕЙ

## Стихи 1954–1955 гг.

---

### *ИЗ «ТЕТРАДИ ПЕРВОЙ»*

Вина тут не моя, что наложить печать  
Я должен на свою заветную тетрадь.

*Омар Хайам*

И стражу к словеси приставит...

*А. Н. Радищев*

\* \* \*

Песня, это – слова, но сколько нужно исканий,  
Чтобы слово найти, нужное мне и тебе.

### **ТЕРЦИНЫ**

Хотел бы жить я в памяти людей,  
А не мелькнуть в ночи землей падучей,  
Не проползти сквозь жизнь, как муравей.

Я знаю: моралист на этот случай  
Уж заготовил жеванный урок:  
Набор цитат и слов набор трескучий.

Ну что ж, и моралист умрет в свой срок,  
И с облегченьем мир его забудет,  
Но это миру, право, не упрек!

Ведь тот, кого суд времени осудит  
(О, бойтесь, бойтесь этого суда),  
Тот кулаками память не забудит.

А между тем идут, идут года,  
Идут (куда? – спросить бы для приличья),  
И с ними мы уходим в никуда.

Я не хочу ни славы, ни величья,  
Ни громких слов себе и ни похвал,  
И каменного не хочу обличья.

Хочу, чтоб просто кто-нибудь сказал  
Лет через сто: «Вот жил Нейштадт Владимир  
Сто лет назад и песни сочинял.

Когда седым он стал, слова седыми  
Его не стали, чувства и мечты  
До смерти сохранил он молодыми.

И он любил осенние цветы,  
А в женщине – изящество движений  
И думой озаренные черты.

Его простых и грустных песнопений  
Не много удалось нам сохранить;  
Они нам говорят, что он не гений,

Но он любил, и он умел любить».

17.2.54

## ПОСЛЕЮБИЛЕЙНОЕ

Вчера я был на юбилее  
И убедился лишний раз,  
Что стали сверстники белее,  
А Суровы не любят нас.

За что? За то, что к нравам свинским  
Не льнет седая голова,  
За вкус к пословицам латинским,  
За «непонятные» слова.

За то, что Брюсова мы чтили  
И слушали с открытым ртом;  
За то, что Блока мы любили,  
Завороженные стихом.

За то, что вместе с Маяковским  
Мы с дураков снимали грим;  
За то, что языком московским,  
А не блатным мы говорим.

За то, что в дни эпохи славной  
Близка нам Лермонтова грусть;  
За то, что слезы Ярославны  
Мы заучили наизусть.

29.4.54

## ПРОРОКИ

Исполнишь волею моей!

*«Пророк» Пушкина*

Исполняясь волею, они вещают –  
«Душ инженеры», то есть «дундуки».  
Их то секут, то славой угощают,  
Они в ответ клянутся, обещают,  
Готовы разорваться на куски.

Замкнется круг и соберутся снова –  
Вершители, пророки, соль земли,  
И осуждают веско и сурово,  
Опять исполняясь волею, – любого  
Из тех, кого вчера превознесли.

Им всё равно: закручена пружина,  
И шестеренки совершают круг.  
У них нет совести, хотя б мушиной.  
В наш век эпический, в наш век машинный  
Судьба в руках у заведенных рук.

Голосовать! Жест прост и благороден.  
Кто против? Нет. Кто за? Все – за? Да, все...  
Что из того, что этот жест бесплоден?  
И шар земной как будто бы свободен,  
А кружится, как белка в колесе.

## **ЖИЗНЬ**

(ОТРЫВОК)

.....

.....

Не атомный распад неукротимый,  
Не таинства белковых превращений  
Я разумею, говоря о жизни.  
Я разумею сложный муравейник,  
В котором зависть, страсти, поношение,  
Борьба за место у окошка, драка  
За кость, за апельсины, за галоши,  
Иудино лобзанье, нож в лопатку,  
Подсидки, заседания, производство  
Детей, машин, предметов обихода, –  
И очень мало теплоты и ласки.  
О теплота (не тепленькое место,  
Не теплый суп, не теплая водичка,  
Не теплота газетного елея) –  
О теплота людского уваженья,  
О теплота, тепло любви ответной,  
О теплота, которой мы взыскуем,

Чтоб сердце человечье не замерзло,  
Как руки без перчаток на морозе.

.....  
.....

## **СТАРАЯ-СТАРАЯ ПЕСНЯ**

Как труден наш уклад, как многосложен,  
Как много пут, как много узелков.  
Смят каждый час, и каждый миг встревожен,  
И каждый вздох как будто не положен,  
И каждый взгляд как будто бестолков.

Ты помнишь, как в полях дымки клубились,  
А миномет скрипучий песню вел,  
И люди, лошади, стволы валялись?..  
Мы на войне терпению учились,  
Мы терпеливей муравьев и пчел.

Мы терпим всё. А годы убегают,  
Летят часы, минуты, жизнь летит...  
Зачем за правду сердца нас терзают?  
Зачем ты должен только делать вид?

Зачем? Зачем? Кто знает, кто расскажет?  
Кто стережет стреноженных коней?  
Мед жизни только по губам помажет,  
Комета счастья только хвост покажет  
И – вдребезги! И мы – за ней...

\* \* \*

Положено людям терпенье,  
Как птице положено пенье,  
Как черной гадюке шипенье,  
Как волку клыков оскал.

Но мы под шумок, блудливо,  
Бросаем воды залива  
И мчимся нетерпеливо  
К седым бурунам у скал.

А там, потерпев крушенье  
И зная свое прегрешенье,  
Мы шепчем себе в утешенье:  
«Он бури, мятежный, искал!»

\* \* \*

Как резинка карандаш с бумаги,  
Так и время нас с земли стирает.  
И напрасно в молодой отваге  
Человек о будущем мечтает.  
Вот приходит будущее это,  
А второго будущего нету,  
И за будущим один порог.  
Оступился и – навеки лег.  
Не ходить уж по земле бедняге,  
Не смотреть колдунье-жизни в рот.

И его, как карандаш с бумаги,  
Будущее начисто сотрет.

\* \* \*

Так бывает: шел и очутился  
В переулке том, где ты родился;  
Каждая горбинка в нем знакома.  
Дальше! – и сильнее пульс забился:  
Вот!.. Но дома нет, где ты родился,  
А остался только номер дома.

## ТИШИНА

1

Есть переулков тишина –  
И мне она показана,  
Особенно когда луна  
В ночное небо вмазана;  
Когда прищурены глаза,  
И в сердце всё занозится,  
Когда и ешь, и вдруг слеза  
Щекочет переносицу;  
Когда холодной жизни мох  
Цветами вдруг украсится,  
И песня, нежная, как вздох,  
Сама ложится на сердце;

Когда безумствами соришь,  
В разрыве с грузным опытом,  
И всё любимой говоришь –  
Один, певучим шепотом.

## 2

Но если улиц кутерьма  
С автобусной чечеткою,  
То город для меня – тюрьма,  
И я как за решеткою.  
Как будто всё кипит ключом,  
Кипит, но тем не менее  
Я чувствую себя рублем,  
На пятаки разменянным.  
Зачем же, чтобы жизнь была,  
Как встарь, скопцом-менялюю,  
Чтоб серебро у нас брала  
С наживой небывалою?  
Зачем? Не надо. Три войны! –  
Копайтесь в них, историки!  
А я – я жажду тишины  
Без рупорной риторики.

## ПУСТЫРИ

Я люблю пустыри, где покоятся грозные бревна,  
И душистые доски, где всюду пробила травя.

Посидишь на бревне, привалившись к другому  
любовно, –  
И придут на язык человечьи простые слова:  
О любви, о друзьях, о морском вековечном  
прибое,  
О шпицбергенском небе, о льдах, о плотах  
на реке –  
И забудешь о годах, о бомбах, о войнах и вое,  
О деньгах, о гудроне,  
О боли, о лжи и тоске.

Я по Черному плавал, по Белому, Балтику знаю,  
На Азовском, на Каспии был, Ледовитым ходил,  
Приазовские степи промерил от края до края  
И в приокских лесах и в прикамских подолгу  
бродил.  
Там везде тишина, и повсюду хорошие люди,  
И повсюду такой обновляющий душу покой,  
Что теперь вспоминаю о нем как о сказочном чуде,  
Растрянжирив себя, как дурак, в суете городской.

Хорошо на бревне! По-мальчишески молвить:  
что надо!  
А по-взрослому если сказать от души: красота!  
Наплывают, плывут облака, уплывают громады,  
И такая же, как над Болконским, небес высота.  
Бьют часы: уходить! Снова город. – Как скачет  
неровно,  
Словно ухаает, сердце. Как шумно! И в шуме я сам,

Как пустырь, на котором одни обгорелые бревна,  
И осколки стекла, и ненужный, заржавленный  
хлам.

*7 сентября 1954 г.*

\* \* \*

Еще приметен трепет птичий,  
Еще настойчив птичий свист,  
Нарушив осени обычай,  
Еще повсюду зелен лист.

Еще благоухают травы,  
Полны целительных чудес,  
И горечь городской отравы  
Снимает теплой лаской лес.

И сердце, подчиняясь ласке,  
Благословляет бег минут,  
И слезы, не боясь огласки,  
Свободно по щекам бегут.

И очарован чистой речью,  
Освободясь от всех опеки,  
Свою походку человеческую  
Вдруг обретает человек.

## РОДИНА

Люблю отчизну я,  
Но странною любовью...

*Лермонтов*

Себя на мысли я ловлю:  
Я – русский с именем нерусским,  
С морской душой, со лбом неузким, –  
За что же я тебя люблю?

За то ли, что в какой-то век  
Какой-то князь, трубя победу,  
Монгола, немца или шведа  
На льду иль на земле посек?

Или за то, что некий царь,  
По праву или не по праву,  
Чинил над подданным расправу,  
Добром изъятым полня ларь?

.....  
.....  
.....  
.....

Нет, не за славные дела  
Люблю тебя любовью странной,  
Люблю за то, что в год не бранный  
Ты Лермонтова родила.

За то, что русский наш язык  
Всё может выразить: волненье,  
Любовь, и ласку, и кипенье,  
И боль, и грусть, и гнев, и крик.

За то, что не прощает он  
Ни ханжества, ни лицемерья, –  
И тот, кто в их рядится перья,  
Тот будет им разоблачен.

За то, что вдруг в сплетеньях строк  
Коснеют лживые глаголы,  
И сразу видят все, что голы  
И лжепоэт, и лжепророк.

ИЗ «ТЕТРАДИ ВТОРОЙ»

Строки свои  
На зыбком прахе я написал.

*Гёте*

.....  
Попугай перед ними: они не одни –  
И не смеют они говорить

*Чжу Юйцзинь*

\* \* \*

Поэт имеет право нас  
Вгонять и в краску, и в экстаз,  
И даже в ярость – ничего!  
За это не побьют его.

Но если муз бесславный сын  
Мешает с лаком сахарин,  
И эту смесь – родная мать! –  
Читатель вынужден глотать,

То за такую чепуху  
Поэта нужно взять под ноготь:  
Сначала сунуть голым в деготь,  
А после вываливать в пуху.

\* \* \*

Бить ли камнем по кувшину  
Иль кувшином бить о камень,  
Для кувшина всё едино:  
Быть кувшину черепками.

\* \* \*

Я – пепел, в сердце нет огня,  
И мозг тоска мне иссушила –  
Всё потому, что мать меня  
Родить лет на сто поспешила.

А если в сердце нет огня  
И мозг тоска мне изглодала,  
Всё потому, что мать меня  
Родить лет на сто опоздала.

\* \* \*

Я бы хотел умереть, а потом ускользнуть  
от Харона,  
Чтоб самому посмотреть, кто обо мне пожалел.

## ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ

Раз у мира нет начала,  
Значит, миру нет конца –  
Так наука поучала  
Расторопного юнца.

У любви же есть начало,  
Рассудил тогда юнец,  
Значит, чувство подкачало  
И любви придет конец.

Но подруга отвечала,  
Взявши за уши юнца:  
«Рассуди, дружок, сначала,  
Что у палки два конца».

## МАЛЬЧИК И КРЫЛОВ

Одна весьма значительная мать  
Дала наследнику Крылова почитать.  
    Но мальчик, оттолкнув Крылова,  
    Сурово  
    Заметил ей:  
«Мне надоели враки про зверей –  
Кто слышал от котов и от мышей  
    Хотя бы слово?»  
    Ребенок этот трезв умом,  
    Его всё трезвое манит.

Не будем беспокоиться о нем:  
Он будет именит  
И знаменит.

## ВОПРОС

Вчера я по базару шел,  
Вдруг вижу я: столпились люди  
И все ревут, как мой осел,  
Ревут, надсаживая груди.

Один вопил: «Пора нам знать –  
Нет толку в иноземных бреднях:  
Собак нельзя на все ковать,  
Собак куют на две передних!»

Другой взывал: «Мои слова,  
Быть может, новы, слишком новы,  
Но знаю я, как дважды два,  
Полегче им нужны подковы!»

И третий предложенье внес,  
Четвертый, пятый лезли в драку,  
Шестой, седьмой... Но вот вопрос:  
К чему подковывать собаку?

\* \* \*

На свете нет мучительней страдания:  
Держа слова на языке, молчать  
И понимать всю мудрость умолчания.

## ТЕРЦИНЫ

Боюсь, что времени совсем немного  
Осталось мне. Остатний краток путь  
До вечного, холодного порога.

Дай радости глотнуть, дай мне вздохнуть  
Всей грудью страсть твою и, страсти вторя,  
Твое лицо привлечь к себе на грудь.

И утонуть в твоем бездонном взоре,  
И губы вдруг почувствовать твои,  
Единственные на земном просторе,

И мучить их, пьянея от любви,  
Безудержной, безумной и безбрежной,  
Ходящей ходуном в моей крови,

Еще неистойвой, еще мятежной...

## ГЛЯДЯ В ОКНО ВАГОНА

Несется электропоезд –  
Над ним не стелется дым:  
Ходили здесь паровозы,  
Когда я был молодым.

Я помню зеленый пояс  
Полей, лесов и садов,  
Я помню гибкие лозы  
Над зеркалом прудов.

А нынче мелькают, плача,  
Срубленные сады,  
Невысохшие невзгоды  
И высохшие пруды.

Старые, голые дачи,  
Голые старые пни,  
Мои ушедшие годы,  
Мои ушедшие дни.

*25.10.55*

## ПОЭЗИЯ

*Тайна сия велика есть.*

Есть трудные, шершавые слова,  
Тяжелые, взлохмаченные строки.  
Прочтешь их, и не верится сперва,  
Что спят в них поэтические соки,  
Что тайна поэтическая в них  
Лишь заперта пудовыми замками,  
Что это самый настоящий стих,  
Еще не познакомившийся с нами.

И ходишь, ходишь от строки к строке,  
Упрямый мозг и скулы напрягая,  
Пока в тумане, где-то вдалеке,  
Не вспыхнет искорка – одна, другая,  
Всё больше их, они взрезают мглу...  
И на последнем, яростном дыханье  
Ты, одолев отвесную скалу,  
Вдруг ощущаешь радость пониманья.

Какое наслажденье! Для него,  
Как скакуна, готовы мозг мы взмылить,  
Ведь кажется – нет слаще ничего,  
Чем всё понять, всё разумом осилить.

Так, затвердив преподанный урок,  
Сидишь порою в городском вертепе.

И вдруг в окно ворвется ветерок –  
В нем запах моря или запах степи.  
И сладкая, пленительная дрожь  
Вдруг потрясет заплывающую душу.  
И сердце отвечает мозгу: «Врешь!  
Перед тобою, братец, я не струшу!»

И хочется смеяться и грустить,  
И плыть куда-то вдаль – южнее, южнее...  
И так кого-то хочется любить,  
Что ко всему становишься нежнее.  
И так объемлет колдовской призыв,  
Так в нем себя с природою сливаешь,  
Что, разум в сладкой дрожи утопив,  
Не понимая – больше понимаешь.

Вот так же очищающим стихом  
Порою очарован я бываю:  
Нет смысла в нем иль много смыслов в нем –  
Не знаю, это я потом узнаю.  
А вот сейчас за ним – вперед, вперед!  
Охваченный неудержимой дрожью,  
Иду туда, куда он поведет –  
По травам, по камням, по бездорожью.

ИЗ «ТЕТРАДИ ТРЕТЬЕЙ»  
Стихи 1955–1956 гг.

Т. Д.

\* \* \*

Вошла в автобусный уют,  
А я остался с ветром  
И долго слал себе салют  
Своим потертым фетром.

Фонарь качался в вышине  
И мне светил уныло.  
И очень грустно было мне,  
И очень горько было.

Зачем тебя не проводил –  
Жила в душе отравы, –  
Зачем налево уходил,  
А не с тобой направо?

Шепча: зачем, зачем я скис?  
Я долго лез под сито  
Дождя, который падал вниз  
Устало и сердито.

*Апрель 1955*

\* \* \*

Спускался вечер над Москвой,  
Густела неба синь,  
На крышах свет лился рекой –  
Куда глаза ни вскинь.

И вдруг удар, удар – салют!  
И в небе сноп лучей,  
И рупора вокруг ревут,  
Терзая москвичей.

Толпа черна, толпа густа,  
Течет, вминая всех.  
А для меня Москва пуста,  
И сам – пустой орех.

## **ИЗ «МОСКОВСКИХ ЭЛЕГИЙ»**

**1**

Кто, скажите-ка мне, не любит далеких просторов?  
Кто не мечтает о них, ноздри жадно раздув?

Кто просидеть захочет сиднем года золотые?  
Если и есть такой, имя ему – глупец!

Нет, я всегда трепещу от сутолоки вокзалов,  
Трепетно я вхожу в старый мясницкий почтамт.



Милая, ныне с тобой проходил я знакомым  
бульваром,  
Руку застывшую грел я в твоём рукаве.

Стар Чистопрудный бульвар, но он молодеет  
весною,  
Ты же – моя весна, я молодею с тобой.

Пусть мне не бегать по льду на снегурочке  
(ныне забытой),  
Флейты и трубы опять в сердце моем поют!

6.9.55

3

Есть переулок в Москве, неказистый такой  
переулок –  
В нём не родился Толстой, Пушкин в нём  
не жывал.

Тут под стеклянной крышей узорно-кирпичного  
дома  
Создал бессмертье себе русский купец  
Третьяков.

Стал «Третьяковкою» дом, где висят разномерные  
рамы,  
В них – Крамской, Левитан, Врубель, Репин,  
Серов.

Многое множество раз проходил я залы великих,  
Трижды я их проходил с той, что вместила  
их всех.

Свет драгоценных глаз освещал по-иному полотна,  
Свет драгоценных глаз мне раскрывал глаза.

И – Сезам, отворись! – отворялись ворота  
искусства,  
В сердце моем оживал кистью созданный мир.

2.8.55

4

Вширь города росли, а теперь уже вглубь  
прорастают –  
Гулко бегут под землей быстрые поезда.

Лондон, Париж и Нью-Йорк, не угнаться вам  
за Москвою!  
Царством подземным своим нос вам утерла она.

Но – чудак и дикарь – не люблю я подземного мира,  
Чужды моей душе мраморные дворцы.

Пусть изукрасили их ваятели и камнетесы, –  
Пахнут мертвым они, воздух в них неживой.

Нет, я небо люблю, голубое высокое небо,  
Легкий бег облаков, звездную роскошь в ночи;

Воды, текущие вдаль, я люблю, но не Стикса  
теченье,  
Орк не прельщает меня, я не стремлюсь в Аид.

Но когда меня увлекает рука дорогая, –  
С нею не только в Аид, с ней я спущусь  
и в метро!

## 5. Памятник Чайковскому

Выпив, присел композитор на стул, отдохнуть  
собираясь,  
Ноги покойно скрестив, носом слегка  
поклевать.

Но окаянный ваятель, творец площадных  
монументов,  
В правую руку ему перышко тихо вложил.

Тут зазвонил телефон, композитора обеспокоив,  
Левую руку к нему он второпях протянул.

Так и застыл он, людей удивляя развинченной  
позой:  
*Шуйца* не знает того, что *десница* творит!

3.8.55

## ЧЕРЕПКИ ИЗ ХАРАКСА

Скоро две тысячи лет черепкам вот этим  
невзрачным –  
Римским сосудом они были в ушедших веках.

Сон их в крымской земле, на которой римляне  
жили,  
Русский нарушил князь, взрезав лопатой Харакс.

Двадцать лет назад и я гулял по Хараксу,  
В брошенный прыгнув карьер, вырыл я их  
ножом.

Землю с них отряхнув, спрятал я их с уваженьем:  
Нет, они не мертвы – в них дыханье веков.

## ГАЛОШИ

(Из ЛИХТЕНШТЕЙНА)

Толстяк думал:

Я вечером люблю надеть галоши –  
Пусть даже улица совсем чиста.  
В галошах я всегда чуть-чуть пьянею...  
Меж пальцами верчу я папиросу,  
Душа приплясывает в быстром ритме,  
И центнер жира весело трясется.

*Переведено в 1955 г.*

## КУКУРУЗА

Кукурузный початок... Как сердце забилося: жара,  
Кишиневская пыль, разомлели молдавские степи,  
На базаре цыган, у него ни кола, ни двора,  
И медведь околел, от медведя остались лишь цепи...

Я не вспомнил тогда, а сейчас – вот уж, право,  
не ждал –  
Затряслась от волнения рука и задергалось веко:  
Ведь с цыганом таким *он* по степи молдавской  
блуждал,  
А потом подарил нам бежавшего в степи Алеко.

Почему же я вспомнил сегодня молдавскую даль,  
Кишиневскую пыль и горячие камни базара?  
За окном белый снег и березовая печаль,  
За пустою стеной сочинительские тары-бары,

А внизу телефон, провода, провода в белый свет,  
А на полке в шкафу пузырьки, пузыречки – аптека.  
Так куда же уйти от себя, от друзей, от газет –  
И в молдавской степи ни покоя тебе, ни Алеко.

Я сижу за столом, тереблю поседевшую прядь,  
Я один – и не нужно ни лжи, ни беседы, ни прятки...  
Кукуруза? Ах, да! Ну, о ней как-нибудь вдругорядь:  
От стихов не созреет в степи кукурузный початок.

*Переделкино, 1956*

## ПЕЙЗАЖ С ЧЕЛОВЕКОМ

Весна сегодня иль осень –  
Нахмурил брови денек,  
Нахохлились иглы сосен,  
Намок соседский щенок,  
Надрывно кричат два кочета,  
Пронзительно-мокрая грусть,  
Работать совсем не хочется,  
Не хочется – ну и пусть!  
Размокли, размякли мысли,  
Размякла глина полей,  
Над ними тучи повисли  
И над душой моей.

*Переделкино*  
24.4.56

## АМОК

Жизнь раззадорена потугой  
На искрометные дела.  
Она, как встарь, бежит по кругу,  
Но закусила удила.  
И вместо рыси Холстомера  
Она дает за сбоем сбой,  
Непостижимая химера  
Влечет лошадку за собой.

А на пути немало ямок,  
А в небе ухает гроза...  
Что делать – раз у жизни амок  
И затуманены глаза.  
И мы несемся, бросив вожжи,  
Молчим и поминаем мать,  
И знаем – раньше или позже  
Придется шею нам сломать.

22.5.56

### **ПЕРЕД КЛЕТКОЮ ПАНТЕРЫ В ЗООПАРКЕ**

Бумажные розы считайте живыми  
И дохлую рыбу живую считайте.  
Поэзия, это – молочное вымя,  
Доите и в цифрах надоя витайте.

Ах, вы не согласны? Тогда помолчите.  
Согласны? Тогда, бубенцами играя,  
Кружите, кривляйтесь и громко кричите,  
Что мы уже с вами в преддверии рая.

Ах, вы не согласны? Сомненье во взоре?  
Извольте, извольте! Мы вас на заметку.  
Пишите, но литеры все на запоре...  
И клеточки мозга посажены в клетку.

Так в клетке звериной весна за весною,  
Но с нею не свыкся с годами ничуть я,  
И в ней, как пантера, мечусь я и вою  
И тыкаюсь мордой в железные прутья.

*13.5.1956*

## **ФОТОГРАФИЯ**

Может быть, деревья эти  
Ураган с корнями вырвал,  
И на месте их другие  
К небу ветви протянули.

Может быть, и вазы эти  
Молотом годов разбиты,  
И на месте их другие,  
И другие пальмы в вазах.

А забор – забор, конечно,  
Сгнил давно и развалился,  
И на этом месте стала  
Неприступная ограда.

Всё меняется на свете –  
Не успеешь оглянуться.  
Только море – то же море,  
Так же дышит, так же плещет,  
Так же далью обольщает.

И такие же по небу  
Облака плывут и тают,  
Высоко плывут и тают.

А у моря ходят люди,  
Пусть другие – ходят люди,  
Ходят люди, бродят люди  
И по-прежнему мечтают.

*Июль 1956*

\* \* \*

Я на мир гляжу с опаской:  
Столько в мире западней!  
То доносчик капнет краской –  
Не отмоешь много дней;  
То слюною ядовитой  
Отравитель именитый  
Брызнет в рану, как змея;  
То без спросу влезут в душу,  
Обтрясут ее, как грушу,  
И – пуста душа твоя.

6.8.56

## ПИЦУНДА

\*

Две тысячи лет для поэта – секунда.  
Секунда – я вклинился в римское время.  
Я вижу, как, руки воздев на триреме,  
Ликуют солдаты: «Пицунда! Пицунда!»

Ликуют солдаты: на скифском побережье  
Красивые жены у скифских уродов.  
Здесь драться приходится реже и реже,  
Они отдохнут от боев и походов.

О да, отдохнут, и усталое тело  
Они прополощут в ласкающей влаге,  
И, выйдя отсюда, задорно и смело  
Пойдут на рожон мировые бродяги.

Пицунда! Разливу горячих столетий  
Не смыть обращенных к тебе междометий!

Пусть скиф растворился, как соль, в океане,  
Пусть Рим потерял свою славу в тумане,  
Пусть всё преходяще, но в тихой Пицунде  
Непреходящая gloria mundi.

Здесь путника море, как встарь, обнимает  
И с тела измученного снимает  
Вериги обещанных великолепий  
И нашей свободы пудовые цепи.

\*\*

За эти недели узнал я на деле,  
Как могут утраиваться недели,  
Как выглядит в жизни бездонная бочка,  
Как знаком вопроса становится точка,  
Как нас паутиной паук оплетает,  
Как время нас пыткой злою питает.

Но ставя на сердце двойную заплатку,  
Себя утешал я: зато ей там сладко!  
И это мне горькое горе смягчало,  
Вот так и смыкались конец и начало.

\*\*\*

Перронный билет! О перронных билетах  
Шекспиру бы петь в гениальных сонетах,  
А нам по плечу ли – не выдержат плечи –  
Воспеть этот ключ, отпирающий встречи.

И вот я держу его... Время, беги же!  
Не мучьте усталое сердце, секунды.  
Вы слышите – поезд всё ближе и ближе:  
Она – из Сухуми... Она – из Пицунды...  
Она! Понимаешь?..

И ты – на перроне.

Вся в солнце, вся в соли и вся в перезвоне –  
Звенишь многоцветною радостью далей,  
Которых так долго глаза твои ждали.

И ты – на перроне. Сияньем улыбки  
Смываешь пространство и горечь разлуки.  
И руки твои загорелые гибки,  
Любимые руки, желанные руки!

И ты на перроне. Со мною. Вся – разом!  
Пьянишь ароматом. Зовешь. Обещаешь.  
Мне сердце вручаешь и плащ возвращаешь.  
И плащ мой разорванный пахнет Кавказом.

*20–24 августа 56*

\* \* \*

Вся работа в области идеологии, культуры должна быть направлена в конечном счете на борьбу за увеличение материальных благ...

*Б. Рюриков. «Правда». 26.8.56.*

Статейка мудрости полна,  
И с ней нельзя не согласиться:  
Литература нам нужна  
Как хлеб, для производства ситца.  
Она нужна лишь, чтоб людей  
Одеть, обуть, набить им чрево.  
А что касается идей,  
То всем известен случай с Евой:  
Познав Добро и Зло, как раз  
Из рая вылетишь у нас.

\* \* \*

Жизнь гостю предлагает кость,  
Любезную сооротив мину,  
И с пира жизни званый гость  
Бредет голодным в домовину.

*3 ноября 1956*

\* \* \*

Я постарел на три годка,  
Ты на три года старше стала –  
Но горестного холодка  
Нам жизнь не подмешала.  
Нет, нет, мы стали горячей,  
Нам осень стала маем,  
И мы друг друга без речей,  
Без слова понимаем.

Цветенье чувства нам к добру,  
Оно живет и нежит –  
Не втянет нас в свою игру  
Фасадной жизни нежить.  
Пусть по испачканной стране  
Гуляет наущенье,  
Но ты со мной и ты – во мне,  
И ты мне – очищенье.

## НОЧЬЮ

Иду по улицам один,  
Постукивая палкой,  
Себе и миру господин –  
Хозяин жизни жалкой.

Снежок кружится надо мной,  
Ложится белой шерсткой,  
И город вдруг – совсем чужой,  
Совсем чужой, заморский.

Всё перестало раздражать  
Меня – исчезли сводни,  
Но очень хочется заржать,  
Чтоб стать еще свободней.

*19.11.56*

## ВАРЬЯЦИИ ТОСКИ И ГРУСТИ

\*

Меха раздувают тоски уголек –  
Раскаляется, окаянный!  
И ты далека, и навеки далек  
Зеленый простор океанный.  
Так как же мне спать в несусветной ночи?  
Как сердцу на части не рваться?

Глаза мои сухи и горячи,  
Слезам в глаза не пробраться.  
Но весь я – страданье, я – слезы, я – боль,  
Я – сам Иоанн Рыдалец!  
И ты, мое счастье, любовь моя, соль,  
Болишь, как отрубленный палец.

\*\*

Я видел страшный сон. Во сне  
Склонила ты лицо ко мне,  
Склонила и сказала мне:  
«Меня ты видел лишь во сне».

Я замер. В мире пустоту  
Я ощутил. Язык во рту  
Затрепетал. И в тот же миг  
На мир обрушился мой крик,

Неугасимый крик тоски.  
И кто-то взял меня в тиски,  
И рвал мне сердце на куски,  
И я проснулся весь в поту,  
Свой ощущая крик во рту.

\*\*\*

Я остановился на дороге,  
На вершины сосен поглядел –

Сосны были первозданно строги...  
Как непозволительно убоги  
Груды наших муравьиных тел!

Мы бредем понуро и устало –  
Будет лето, солнца поворот,  
Только мы за кладом, как бывало,  
Не пойдём: погас огонь Купалы,  
Папоротник в ночь не расцветет.

\*\*\*\*

В многолетнее одиночество  
Вплетено мое имя-отчество,  
Имя-отчество и фамилия –  
От улыбочек словно в мыле я.

И обкурена, и отравлена,  
И тоской душа пробуравлена.  
Всё не клеится, всё не ладится,  
Всё нелепица, всё нескладица.

\*\*\*\*\*

Когда в пустоте зловещей  
На сердце звенят вериги  
И всё для тебя отравы –  
В руках ничего не держи.

Ведь так теряются вещи,  
Теряются редкие книги,  
Теряется добрая слава,  
И так теряется жизнь.

*Переделкино*  
*15–21 дек. 56*

---

## СТИХИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В АВТОРСКИЕ КНИГИ

---

### В АЛЬБОМ

Шутливый тон и мне знаком,  
Порой с рифмической игрою.  
Но не хочу марать альбом  
Почтительною чепухою.  
Не как томительный оброк,  
Но неожиданно сурово –  
Я отдаю вам горечь строк  
За ваше ласковое слово.  
Не знаю: рад или не рад –  
Мне радость кажется ошибкой...  
Но, может быть, мой горький сад  
Вдруг вашей зацветет улыбкой.

*1926, Коктебель*

### ДОЧЬ

В тот день, когда мне больше не проснуться,  
Проснешься ты, почуя утра дрожь...  
Как хорошо твоей руки коснуться –  
С ней будущее за руку берешь.

Проснешься ты и звонко запоешь,  
И спутницы твои с тобой проснутся,  
Далече ваши песни разнесутся,  
Вновь будет день – и весел и хорош!

Я шел в строю, я уставал в борьбе,  
Я гнал врага, как гонит волка гончий, –  
Зато к тебе они не подберутся!

Счастливая! Начнешь, где я окончу.  
Твой легче путь! Но потому к тебе  
Взыскательней и строже отнесутся.

<1934>

\* \* \*

Хожу ли я, брожу ли я,  
Пишу ли я – Зозуля я.  
И за столом, как на суку,  
Твержу всегда свое «куку».

1934

\* \* \*

7 ноября <1936 г.> начался  
<шахматный> турнир в Амстердаме

*Алехину*

Наследник русского гиганта,  
Вы шахматная соль земли.  
В вас блеск «французского» таланта –  
А, сэ жоли! О, сэ жоли!

*Эйве*

Черт гётевский, советчик хоть куда,  
Искателю сказал без ламентаций:  
«Сера, мой друг, теория всегда,  
И зеленеет древо комбинаций».

*Файну*

Гадательных смешав немало карт,  
Он показал «а файнер старт».

*Решевскому*

Иному время нипочем,  
Ему же – горькая забота.  
Когда бы Грибоедов знал о нем,  
Он написал бы «Горе от цейтнота».

1936

## БАСНЯ

Барсук и бабочка  
Однажды подружились,  
Соединились  
И музыкальною заявкой разродились.  
В заявке образ дан один,  
Но – Бородин.  
На фабрику заявка отдана –  
И мысль у парочки одна:  
Пройдет иль не пройдет она?

---

Мораль сей басни такова:  
Нам гонорар нужнее, чем Мессия.  
Недаром помнит вся Россия  
Про тень Бородина.

*11.VIII.40*

\* \* \*

Нет ничего на свете горше,  
Чем ожиданья долгий счет –  
Так в клетке зоосада коршун,  
Полета, задыхаясь, ждет.

Текут разбухшие минуты,  
Часов терзая волоски,

И сердце, вспоминая Брута,  
Перегорает от тоски.

*<август 1954>*

\* \* \*

Я видел вечные льды  
И вечную мерзлоту,  
Людей, умирающих без воды,  
И птиц, умирающих на лету.

*<1956–1958>*

## **НАРОДНЫЕ ДИСТИХИ**

\*

Смерть от пули сладка, не бойся жалящей пули:  
В битве приятая смерть – час твоего торжества.

\*

Кто сохранить не умеет стойкой верности  
Разве достоин тот быть счастливым хоть миг?  
в дружбе,



## ДОРОГА К ИСКУССТВУ\*

(Из воспоминаний)

*Памяти Аиды*

Передо мною лежат дороги – куда я пойду?..

.....

Мужчины положили тело поэта на постель, кое-как прикрыв разодранные перья несчастной вороны.

*О'Тенри. Дороги судьбы*

О, сколько жизни было тут,  
Невозвратно пережитой,  
О, сколько горестных минут,  
Любви и радости убитой!..

*Тютчев*

В детстве меня окрыляло пускание змея. Змей в воздухе, это – завоевание неба, синий купол которого в горячий летний день заставлял дрожать мое сердце неизъяснимой сладкой дрожью. Окрыляли меня музыка, мачтовые ели с красными шишками, непрерывное движение речных струй, бескрайность полей. В эту бескрайность сладко бе-

---

\* Воспоминания, очевидно, готовились В. Нейштадтом для публикации в советской печати, что неизбежно наложило на них «цензурный оттенок»; к тому же далее стадии черновика работа, по сути дела, не пошла: помешала смерть. Тем не менее мы публикуем их с минимальными сокращениями, не носящими идеологического характера: для истории литературы имеет ценность любая точка зрения. – *Сост.*

жать, сломя голову, крича до звона в ушах бессмысленные слова. Но сильнее всего захватило меня море. В нем было всё: непрерывность движения, музыка и бескрайность. Море я увидел впервые в 1909 году, весной, в Крыму. Мне было двенадцать лет, и я не умел плавать. Но я научился быстро. И мне – я это очень хорошо помню – захотелось выразить свое переживание моря в словах, но не в обычных, какими я разговаривал со всеми, а в каких-то особенных. Когда я лежал на берегу с закрытыми глазами или ночью в постели, слова эти сами лезли мне в голову и замечательно складывались, но когда я однажды попробовал записать их в тетрадку, они куда-то пропали, и я ничего не мог придумать. Однако желание записывать входящие в голову необычные слова осталось. Когда осенью мы вернулись в Москву и начались школьные занятия, я много раз принимался «сочинять о море», но рвал всё написанное, так как оно не нравилось мне. Тогда мне случилось «проглотить» (мать всегда говорила, что я не читаю, а глотаю книги) повесть Авенариуса о лицейских годах Пушкина. Я с огромным интересом прочел те страницы, где рассказывалось о поэтических опытах лицеистов. И тут меня осенило: о море и обо всем замечательном лучше писать стихами – «по синим волнам океана, лишь звезды блеснут в небесах» – вот как надо писать! Лермонтова я читал уже тогда с большим волнением, знал многое наизусть, но мне как-то не приходило в голову сочинять стихи, я думал, что это доступно только большим. А тут, видите ли, лицеисты, такие же ученики, как и мы. И в голове у меня сразу возникли строки, которые я тут же записал:

Однажды я жил у моря,  
Со мною случилось горе,  
Но я поглядел на море,  
И сразу пропало горе.

Я отразил в этих строках действительное переживание (море быстро утешило меня, когда шестнадцатилетняя Нюта М. причинила боль моему двенадцатилетнему сердцу), и я, разумеется, не знал, что в моем первом поэтическом опыте повторил образ, развернутый Брюсовым в прозрачном четверостишии:

Когда встречалось в детстве горе  
Иль безграничная печаль,  
Всё успокаивало море  
И моря ласковая даль.

Впрочем, и Брюсов был не первым: до него то же самое, только в более общей форме, высказал старик Еврипид: «Море смывает людские страдания».

Написав свои первые стихи, я почему-то надолго потерял потребность сочинять, зато я бесконечное число раз напевал свое четверостишие на самые разнообразные мотивы то про себя, то вполголоса, а то и во весь голос. Оно действовало на меня магически, как шаманское заклинание на дикаря. Я успокоился на сознании, что умею сочинять стихи, и об этом своем умении рассказал своим друзьям по классу. Но уже наступила весна 1910 г. Экзамен по арифметике, мне совсем не страшный, – и я уже ученик четвертого класса, и мы на даче в Удельном.

Этим летом меня не тянуло ни к книгам, ни к сочинительству. Мой товарищ по играм и сосед по даче Коля В. (ныне известный историк архитектуры), обладатель велосипеда марки Дух, приобщил меня к благородному братству велосипедистов. И этим летом я впервые ударил по футбольному мячу на настоящем футбольном поле у Быковского пруда. Всё это плюс фотография определило характер моих летних каникул...

Но осенью выяснилось, что наш учитель русского языка, Федор Федорович Нелидов, очень благоволивший ко мне, надумал издавать школьный журнал «Ученик» и приглашает меня в число активистов. В тот же день я попробовал что-нибудь сочинить в стихах. Мне хотелось писать опять о море, о Крыме, но мое четверостишие затычкой сидело у меня в мозгу и не пропускало ничего другого: море – горе – море – горе – и всё. Однако крымские впечатления были и спустя год так сильны, что слова прорвались сквозь преграду и стали ложиться на бумагу. Не отрываясь (отрываться было нельзя, иначе бы всё пропало), я написал нечто вроде стихотворения в прозе «Крымская ночь». Федор Федорович похвалил его за поэтичность и принял к напечатанию почти без поправок. Желание увидеть свое произведение в журнале вытеснило у меня всякое желание писать что-нибудь еще. Я думаю, что такое состояние духа знакомо всем, кто ждал появления в печати своей первой вещи. А мне ведь было всего тринадцать лет. Мне казалось, что произойдет какая-нибудь неожиданность: или Федор Федорыч раздумает, или журнал вдруг не выйдет. Я нервничал, потерял аппетит, похудел. Мать, не зная, в чем дело, пригласила доктора. Явился всегда лечивший нас Семен Исаич, выслушал меня, выстукал, я показал ему язык, Семен Исаич похмыкал и прописал мне фитин, железо, еще какую-то гадость. Секрета своего я ему не выдал...

В феврале вышел первый номер «Ученика». Трепет, с которым я нес домой тоненькую тетрадку, – неопишем... А дальше? А дальше начался дифтерит. Понятно, что начинается дифтерит в семье, в которой шестеро детей. Квартира превратилась в лазарет, и в нем воцарилась милосердная сестрица, так как мать, ухаживая за нами, вскоре тоже заразилась и слегла. Лазарет длился больше двух месяцев. И в эти дни, когда у меня прошел тяжелый период и началось томительное вылеживание, а потом – карантин, в эти

дни «являться муза стала мне». Приближалась весна, о чем возвещал воздух, вливавшийся через открытые для проветривания форточки. Он напоминал об оттаявшей земле, о набухающих почках, о зримом пробуждении природы, которое так обновляюще действует даже на тринадцатилетнюю душу. Лишенный возможности встретиться с весной хотя бы на Ильинском бульваре, в Александровском саду или на Кремлевских холмах, где я привык с нею ежегодно встречаться, я вызывал в себе представления о ней при помощи слов, связывавшихся, сливавшихся в ритмические цепи – они заменяли мне желанное физическое соприкосновение с весной. В эти дни я написал целую тетрадь стихов, все о весне. Тетрадь не сохранилась, стихов я не помню. Помню только, что в одном говорилось о прошлогодней траве, которая нежится в тепле весеннего солнца и на которую грубо наступила нога садовника. Другое стихотворение, посвященное матери, воспевало лесные ландыши. Среди всей этой весенней лирики было одно сатирическое стихотворение, направленное против нашего доктора, которому я пенял (весна ведь!), что он так долго не может изгнать бактерии из моего зева. Несколько строк из этой сатиры засели у меня в голове:

.....  
Открыв бацилл тех целый лагерь,  
Сказал Семен Исаич Тагер:  
«Я знаю их, какого рода –  
Вы перекистью водорода  
Рот полощите, а затем  
Прививку сделаем мы всем...»

Семен Исаич был в восторге от этих стихов и читал их во всех домах, где лечил. Потом он удостоил меня ответного четверостишия.

Лет через пятнадцать я в одном незавершенном стихотворении отметил: «Я рано научился от хоря / Ямб отличать и ямбом управлять». Ямб навсегда остался моим любимым размером. Импровизировать на заданную тему я мог только ямбом.

Поздней весной после болезни мы вновь переехали на дачу в Удельное. В пятый класс я был переведен без экзаменов – я хорошо учился. Лето обещало много радостей. Отец подарил мне велосипед превосходного качества. На футбольном поле у Быковского пруда я и мой брат были желанными гостями, так как у нас был собственный футбольный мяч. Тем не менее спортивный пыл этого лета не убил во мне поэтического пыла. Я почувствовал радость творчества. В клеенчатой тетради, отданной под стихи, появилось, кроме лирических стихов, даже начало поэмы. И – что важнее – появилось много грязи: я приучался работать над стихом, стал требовательнее к себе. Эта тетрадь, как и весенняя, тоже пропала. Удивительное свойство у тетрадей – пропадать. А я ведь любитель хранить исписанную бумагу. Я не выбрасывал ни своих школьных сочинений, ни университетских работ, ни поэтических тетрадей – и куда они подевались, ума не приложу.

Содержание описываемой тетради помню довольно смутно. Была басня о футболисте, который всё лето провёл на футбольном поле и провалился на переэкзаменовке. Басня была написана в поучение одному дружку, которому эта участь только грозила. Было много описательных опытов, но были и попытки поговорить о человеческих чувствах. Припоминать это позволяет мне следующее обстоятельство. У меня сохранилось несколько писем моего двоюродного деда ко мне, относившихся к этому времени. Ему я читал все свои стихи, и он по-дедовски восторгался ими. То есть это теперь я понимаю, что восторги были дедовские, тогда я принимал их всерьёз. Так вот, в одном из пи-

сем дед пишет мне: «Стихи о горбатеньком хороши потому, что в них ты возвышаешь обиженного судьбой человека, а твою “холодную красавицу” ты, может быть, напрасно обидел, хотя написано здорово, на пять с плюсом». Горбатенький, о котором идет речь в письме, это – неизвестный юноша, выделявшийся своим искусством на малаховском скейтинг-ринге. «Помнишь, – писал мне дед, – какие экивоки и выкрутасы выделял горбатенький? Какая техника! Какие пассажи! Настоящий Кубелик!» Об этом горбатом спортсмене я и написал стихотворение, в котором радовался, что обиженный природой человек победил злую природу красотой искусства. Тема была значительна для моих лет, но была ли она в моих силах? Не знаю. Не помню ни строки.

А «холодной красавицей» я прозвал одну девушку, жившую в Удельном. Она была действительно красива, но никто никогда не видел у нее на лице ни одного человеческого движения, это была холодная маска – то ли от пуританизма, то ли от пренебрежения к ближним. Я написал на нее эпиграмму, которую довели до ее сведения, но она не произвела на нее никакого впечатления, как мне передал ее брат. Эпиграмму помню:

Красавица холодная,  
Рубну тебе с плеча:  
Судьба твоя бесплодная –  
Ни богу ты свеча,  
Ни чорту кочерга.  
Холодная красавица  
Недолго будет нравиться –  
Наставят ей рога.

Эпиграмма, может быть, и несправедливая, но обличающая в юном авторе понимание эпиграмматической формы.

В другом своем письме дед, жалуясь, что я не пишу ему, заключил свою жалобу такой строкою: «Где же ты, милый друг?» Это – несколько смещенная цитата из моего стихотворения, которое очень нравилось деду. Строка эта заключала каждый куплет стихотворения. Так первая строфа кончалась двустишием:

И шептали, склонившись, цветы:  
Милый друг, где же ты?

Уже по этим признакам видно, что стихотворение было «чувствительным» и навеяно чтением таких поэтов, как Надсон, Фруг, Фофанов. Это был, видимо, мой период сентиментализма...

В учебном 1911–1912 году «Ученик» продолжал выходить и, кажется, даже в большем количестве экземпляров: журнал печатался на стеклографе. Федор Федорович в этом году уже не вел нашего класса, но страницы журнала были мне широко открыты, и в нем появились, кажется, три моих стихотворения и очерк «На Шалуне в Ялту», который у меня назывался «Морская болезнь» (клянусь, что он не имел ничего общего по теме с рассказом Куприна, а был вызван горделивым чувством человека, который, не страдая морской болезнью, с оттенком превосходства сожалел обо всех тех, кто мучился на палубе «Шалуна» во время слабенького волнения).

Из стихотворений моих, насколько помню, было напечатано «Утро», в котором неизбежный жаворонок (с проглоченным первым «о», иначе он никак не влезал в ямб) неизбежно трепетал в синеве (обязательно яркой) небес. Напечатаны были еще «Дождь» и, кажется, «Легенда о Диве и Монахе». В последнем я не совсем уверен, но эта баллада, во всяком случае, единственное из стихотворений того времени, сохранившееся у меня в памяти. По-

могло этому, вероятно, то, что баллада, во-первых, несколько выделялась по технике среди прочего материала, а во-вторых, что, может быть, важнее, – сами «Дива» и «Монах» находятся, как известно, в Симеизе. Они замыкают чудесный симеизский пляж. От «Монаха», впрочем, после землетрясения остался лишь обломок. На «Диве», метрах в 8–10 над уровнем моря, находится выступ, вскарабкаться на который довольно мудрено. С этого выступа несколько смельчаков прыгало в воду. Это называлось «делать дукс», а термин этот появился в связи с тем, что над выступом, с которого прыгали, находилась реклама велосипедной фирмы «Дукс» – огромные буквы, намалеванные красной краской и видные издалека. Так вот, «делать дукс» было небезопасно, так как у основания «Дивы» торчат острые камни, и место для прыжка надо было выбирать осмотрительно. С каким замиранием следил я за человеческой фигуркой, такой крохотной на фоне скалы, так стремительно летевшей с раскинутыми руками. Всплеск, фигурка исчезала в воде, взметнув фонтанчик, и выплывала метрах в десяти от скалы. Это были наши герои – их было трое – лучшие пловцы нашего берега...

Понятно, что легенда, связанная с «Дивой» и «Монахом» и рассказанная мне одним старожилом, получала, благодаря прыгунам, физически ощущаемую наглядность. Эту легенду я положил в основу своей баллады.

### **Легенда о «Диве» и «Монахе»**

Давно это было, столетья назад:  
Жил рыцарь на свете, могуч и богат.  
Чудовищем страшным в народе он слыл –  
Так много он тяжких грехов совершил.  
Но вещий приснился могучему сон.  
«Уйду в монастырь, – порешил тогда он, –

На старости лет перестану грешить  
И стану прощенья у неба молить».  
Так рыцарь решил, но не так поступил  
И, ставши монахом, опять согрешил.  
Однажды увидел он деву в горах,  
И дерзко схватил ее страшный монах.  
Она испугалась, рванулась – бежит.  
Монах распаленный за нею спешит.  
Бежит она к морю, как серна легка,  
Вот берег, скала перед ней высока.  
Он близко... он рядом... он схватит опять...  
Нет, лучше уж смерть, чем добычею стать!  
И крик, как заклятье, слетел с ее губ,  
И чайкой метнулась она на уступ,  
И бросилась в море, и скрылась в волнах,  
И замер от ужаса страшный монах,  
И холод по жилам его вдруг разлился,  
И в камень холодный монах превратился...

Стоит и поныне он рядом с скалой,  
О них разбивается шумный прибой.

Добавлю, что в легенде, услышанной мною, ничего не говорилось о предыдущей жизни монаха. В рыцаря, решившего замолить свои грехи, я превратил его собственной властью. Мне казалось, что это придаст больше правдоподобия неблагоприятному поведению монаха. Сознаюсь, что к тому времени я уже прочел «Айвенго», и образ храмовника Бриана де Буагильбера произвел на меня потрясающее впечатление.

Среди авторов «Ученика» я считался ведущим поэтом. Любителей рифм в нашей школе оказалось мало, и то, что они предлагали, было уж очень примитивно. Вспоминаю, например, напечатанный в 1910 году стишок моего друж-

ка Васи К. (он погиб в 1916 году на французском театре войны, куда он, по окончании школы прапорщиков, был направлен с русскими войсками). Стишок назывался «Весна»:

Время наступило,  
Зацвели цветы,  
И глядят так мило (!!)  
В зелени кусты.  
Птички прилетают  
Из далеких стран,  
Бабочки порхают  
Всюду по цветам...

Дальше не помню. Помню только, что уже тогда считал это чирикание (кстати, откуда-то позаимствованное) допустимым разве для пригостишек, но не для ученика 4-го класса. Из-за этого произведения искусства я чуть было не поссорился навсегда со своим другом – вот отчето я и запомнил эти немудреные строки. Ваське они дорого обошлись, потому что игривые обращения вроде «Время наступило дать К...у в рыло» или «Вася вымыл рыло и глядит так мило» (в авторстве их сознаюсь) – преследовали его довольно долго. Стихи писать он закаялся.

Что ж, на фоне такого поэтического творчества немудрено было выделиться, и хвастаться особенно нечего. Но все-таки мне удалось тогда – правда, уже в 6-м классе, т. е. в 1912–1913 г. – возбудить одним моим стихотворением внимание всего учительского персонала. Я был и смущен и польщен этим, и уж, конечно, самое стихотворение осталось выгравированным у меня в мозгу на всю жизнь. Странно поэтому, что я не помню, как оно называлось. Видимо, заглавия и не было, а напечатано оно было просто под звездочками. Вот оно:

Мне сознаться ничуть не зазорно,  
Что до боли люблю я просторы:  
На просторе ведь сердцу просторно –  
Не гнетут его тяжкие горы.

Оттого-то во мне всё трепещет,  
И я вдруг красоту постигаю,  
Когда море вокруг меня блещет  
Иль когда я по степи шагаю.

Там и тут я не вижу предела,  
Там и тут предо мной бесконечность,  
И на миг на меня поглядела  
С бесконечностью слитая вечность.

Не было, кажется, ни одного преподавателя, который не подошел бы ко мне после выхода номера журнала и не сказал бы мне нескольких слов поздравления или не спросил бы меня, давно ли я пишу, о чем пишу, как зародилось у меня это стихотворение. Особенно заинтересовался им наш инспектор, он же наш преподаватель математики, А. В. Казаков. Он ходил со мной под руку (а он был скуп на ласку) всю большую переменную – 50 минут, допытываясь, откуда ко мне пришла мысль о «слиянии вечности с бесконечностью» и что я под этим разумею? Случайна ли у меня эта строка, или она выражает определенное физико-математическое представление?.. Я только значительно позднее понял, чего он добивался от меня. Его интересовало, знаком ли я с утверждением новой физики, что пространство зависит от времени? И не знаком ли я с изложением теории относительности, которая эту связь делает еще более тонкой и глубокой, доходя до утверждения солидарной зависимости. Так вот не отсюда ли пришла в мой стих и «С бесконечностью слитая вечность», т. е. пространство, неразрывно связанное с временем?

Увы, обо всем этом я тогда и не подозревал. А рассуждал я приблизительно так: бесконечность не имеет ни конца, ни начала. Вечность – также. Мы можем назвать вечность бесконечно развертывающимся временем. А бесконечность – вечно развертывающимся пространством. Вечность и бесконечность, эти образы подобны. Я и воспринимал тогда вечность и бесконечность именно как образы, а не как математические или философские понятия. Если бы я мыслил тогда философски или математически, я должен был бы сделать из своего рассуждения последний вывод, что время и пространство, это – одно и то же. Я такого вывода не сделал.

Что же до конкретизации образов вечности и бесконечности через образы моря и степи, то на это меня навела какая-то работа по эстетике (я уже почитывал такие), в которой было сказано, что красота есть угадывание бесконечного в конечном (или что-то в этом роде).

Не знаю, удалось ли мне тогда толково изложить всё это Алексею Васильевичу. Кажется, удалось. Он не был «сухарем», как обычно представляют у нас учителя старой школы, очень любил искусство и был человеком тонких чувств. Это мы поняли, вернее – почувствовали, когда однажды, перед роспуском на каникулы, Алексей Васильевич, как того требовал школьный обычай, вместо урока математики читал нам рассказ Чехова, и читал с такой артистичностью, с таким юмором, что суровый облик его сразу потеплел в наших глазах. Поэтому мне показалось естественным, когда под конец нашего разговора он спросил меня: «А вы кого больше любите – Пушкина или Лермонтова?» Я ответил: «Лермонтова». Алексей Васильевич на это сказал: «Когда вы станете постарше, вы поймете, что Лермонтов не успел стать великим, а Пушкин велик. Но Лермонтов покоряет нас непосредственностью чувства, за каждым его стихом стоит страдание». И, помол-

чав, добавил: «Вы, наверное, собираетесь на филологический?» На мой утвердительный ответ он усмехнулся и заметил: «А когда-то вы собирались стать астрономом». Я удивился. «Откуда вы это знаете, Алексей Васильевич?» – спросил я. «Очень просто, дружок. Когда вы были в четвертом, я несколько раз замечал у вас в руках книги по астрономии. А в награду себе при переходе в 4-й класс вы выбрали Фламариона... Впрочем, кем бы вы ни стали, помните одно: наука не выносит лжи и пустословия...»

.....

Я помню...

.....

Да, я поступил на филологический (в 1915 г.). И я понял, что «Пушкин – наше всё». И я продолжал искать дорогу к искусству. Я стал писать гораздо больше. Закономерно возникла тема любви. У меня появилась техника, я познакомился с различными теориями стиха, только что вышедшая тогда книга Шульговского «Теория и практика поэтического творчества» обогатила мое знание стиховых форм. Я развивался, но я как-то не находил самого себя. И, главное, я чувствовал, что чего-то не хватает в моих стихах, и очень мучился. Похожее было у меня и в музыке (я учился играть на скрипке), но тут это было закономерно прежде всего потому, что я, очень любивший музыку, был по природе своей, так сказать, пассивным музыкантом, т. е. очень любил слушать, но не очень стремился играть (так бывает и у людей с более богатой, чем у меня, музыкальной природой, а у меня она совсем не богата). Но в искусстве слова я, поглощавший невероятное количество книг, не мог оставаться только читателем, меня не-

удержимо тянуло к бумаге. Что-то кипело во мне и, как пар из кастрюли, рвалось наружу. В голове толпились слова, возникали строки и требовали занесения на бумагу для дальнейшего развертывания их – я не умел сочинять в голове – в голове только возникало, а потом нужно было видеть строки и пачкать бумагу. И много я бумаги попачкал, много переписал начисто, но удовлетворения было мало, и я то и дело терял веру в себя. Может быть, это был естественный процесс – ломался голос, как в жизни? Может быть. Но ведь и мальчик, стоящий на пороге юности, когда у него ломается голос и он то и дело пускает петуха, – очень страдает от этого и пытается нарочито огрублять голос, подражая взрослым голосам. Так и я страдал от своих «петухов» и пробовал найти опору в подражаниях. Может быть, мешало мне и некоторое раздвоение (оно и сейчас мне мешает!). Дело в том, что в 1913 г. мать отдала мне во владение большой ящик с книгами, стоявший в коридоре. Украдкой я пользовался им и раньше, перечитав многое, что было мне запрещено по возрасту, но теперь я стал полновластным хозяином этого богатства, введя его в свою личную библиотеку. В этом ящике я обнаружил папку, в которой мать хранила остатки бумаг своего отца, Владимира Яковлевича Фролова, умершего за год до моего рождения. Среди рукописных нотных страниц и нотных изданий, сложенных в этой папке, я нашел письмо, вставленное в рамку. Рассмотрев и с огромным трудом разобрал его, я понял, что это – подлинное письмо П. И. Чайковского. Поскольку оно хранилось в бумагах деда, оно, стало быть, было писано к нему – так я решил, хотя прямого указания не было: обращение было – «Дорогой дружок», а не имя и отчество. Но чего было гадать, я обратился к матери, и она подтвердила мое предположение. Тогда я приступил к ней с расспросами, потом к своему учителю музыки, близко знавшему моего деда, и постепен-

но выяснил его трагическую историю. Он был музыкант, учился в консерватории, в которую был определен в первый же год ее открытия (1866 г.), был учеником Чайковского по классам гармонии и инструментовки, был исключен из консерватории за какую-то тяжкую провинность (за какую – я узнал точно только много лет спустя), загубил свой талант и умер от чахотки, не дожив до сорока лет. Двадцать лет спустя после этих первых моих разысканий я нашел в консерваторском архиве документы, дополняющие картину, а еще почти через двадцать лет в фондах музея Чайковского в Клину были найдены пять писем моего деда к Петру Ильичу. Ответом на первое из них и было то письмо Чайковского, которое мать хранила в папке, перешедшей ко мне. Увы, она мало что сохранила! Я узнал, что найденная мною папка была именно жалким остатком дедовых бумаг. Целый ящик, содержащий в себе рукописи деда, рукописи других музыкантов, подаренные ему, письма известных актеров и музыкантов, их карточки с надписями к деду и пр. – всё это богатство, небрежно хранившееся на чердаке, было украдено в 1905 или в 1906 году и продано на вес в колониальную лавочку, находившуюся на дворе дома, в котором мы жили (дом стоял на Старой площади, на том месте, где сейчас дом ЦК). Узнав об этой пропаже, я пришел в ужас, отчаяние, негодование. Я пытался искать дедово наследство, выискивал «следы», бегал по Сухаревке (где, действительно, нашел несколько нотных изданий с автографом деда), но, не найдя ничего существенного из документов, нашел другое: пламенный интерес к документу, тот филологический интерес, который часто и надолго уводил меня от искусства, отрывал от замыслов, от начатого, и оно так и оставалось уже незавершенным. Мне никогда не удавалось совместить филологию и поэзию, всегда между ними шел спор: то одно брало верх, то другое. И эта борьба, это раздвоение мешало моему по-

этическому росту, как мешало оно, несомненно, и росту научному. Это так, и пример Брюсова, тоже страдавшего таким раздвоением, только поддерживает меня в моем убеждении. «Поэзия, прости господи, должна быть глуповата» – я понимаю этот афоризм Пушкина именно в том смысле, что между поэтическим, риторическим и логическим существует принципиальное различие. Каждое из них может пользоваться методами своих антагонистов, но до известного предела, а вот раздвоенность-то, о которой я говорил, и заводит за допустимые пределы.

Надо думать, однако, что основа моей поэтической растерянности в годы 1913–1916 лежала всё же не в этом раздвоении. Само время было отмечено печатью растерянности и распада. Время внушало неокрепшему поэтическому сознанию, что классическое наследство, это – только печальная школьная необходимость, пройдя через которую ты выплываешь к свободным берегам нового искусства. Но для меня Пушкин, Лермонтов и Некрасов («Мороз Красный Нос»!) были не печальной, а радостной необходимостью. И уже Тютчев начинал проясняться мне. И был еще Гейне, которого я воспринимал не через уродливые вирши Вейнберга, а непосредственно, так как немецкий язык был мне открыт с детства. Я не хотел «сбрасывать их с парохода современности». Они мне были нужны. Но ехал-то я на пароходе современности, и сбрасывать себя самого с этой сложной машины мне тоже не годилось.

Общепризнанным капитаном этого парохода был тогда всё еще Валерий Брюсов. Он потрясал многообразием своей поэтической археологии, удивлял богатством форм, а меня радовал еще тем, что, изощряясь в новом, не гнушался и старого, не брезговал даже так называемыми «банальными» рифмами и пр.

Но рядом с Брюсовым был еще Блок, а Блок ничем не удивлял, ничем не потрясал – он просто зачаровывал, завораживал. Был еще Андрей Белый, «симфонии» которого меня никогда не трогали, но он увлекал патетикой стихов о России, редкой в те времена гражданской нотой, всегда таившейся за его «фокусами», впрочем, очень смелыми и не бессмысленными. Вот Бальмонта я просто не любил, несмотря на общепризнанную напевность его стиха, и всегда ощущал в ней нарочитость и холодность. Зато Сологуб приманивал меня своей «бесовщиной», отделаться от которой было очень трудно.

Сологуб завербовал нас прежде всего своей прозой. «Мелкий бес», это, несомненно, – крупная вещь. Но вот, например, в стихотворении «В тени косматой ели» черт-то уж совсем как будто мелочь, однако это стихотворение знала наизусть и, захлебываясь, декламировала вся читающая молодежь. Сологуб владел секретом утонченного ритма, в его стихах обычные, казалось бы, трехстопные и четырехстопные ямбы приобретали какую-то трепетность и властно подчиняли себе. Иногда, правда, во мне шевелился вопрос: уж не мистифицирует ли он нас? Подкинет какую-нибудь завлекательную чертовщинку, а сам, отвернувшись, хихикает над одураченным читателем. Но эти сомнения быстро проходили, и я вновь отдавался чарованию его ритмов. <...>

Я пишу не историко-литературную статью, а воспоминания. Мои оценки поэтому субъективны. Вернее, это не оценки, а реставрации моего восприятия тех или иных поэтических моментов в годы юности. Как видно, восприятия были не совсем расчлененные. Могло ли быть иначе? Слишком уж разноречива была поэтическая действительность. Как было с ней сладить? К пяти китам символизма, о которых я говорил (я умолчал о Вячеславе Иванове, к холодной архаике которого я всегда был глух), при-

мыкало еще множество спутников, из которых истинно напевный Виктор Гофман, хочешь не хочешь, а западал в память. А ведь кроме символистов были еще акмеисты, ведшие с ними и практический, и теоретический спор. В спор их я не очень еще вникал, мне почему-то казалось, что спорить им по существу было не о чем, но творчество акмеистов и поглощал жадно, и Гумилев, по формальному мастерству, мне казался непревзойденным.

Хорошо, но ведь по улицам двигалась уже могучая фигура Маяковского, она вырастала уже на эстрадах, она уверенно расчищала себе путь. Маяковский гвоздил по голове коваными строками – особенно действовал его стих, когда он читал его сам, – а рядом сутулился загадочный Хлебников, медведем ворочаясь в сознании читателей. Нет, Хлебникова не спишешь на счет убытков поэзии, аргументируя каким-нибудь «измом».

В годы 1914–1916 Маяковский, вопреки улюлюканью газет, принимался определенными кругами молодежи восторженно. Ведь это были годы войны, а к войне молодежь, даже подогретая шовинистическими лозунгами, всегда относится настороженно – умирать-то приходится ей и хочется знать – за что. А символизм и акмеизм этого вопроса даже не ставили. Для них война была началом биологическим или мистическим, при всех обстоятельствах независимым от воли человека. Они эстетизировали первобытную сущность войны и неоднократно разменивали свой поэтический талант на военные и воинственные вирши, потянув за собой в газеты и журналы вереницу бездарных писак со стишками, в которых слово «победа» склонялось в каждой строке.

А Маяковский по поводу победы выразился в «Войне и мир!», как гвоздь вколотил:

Безрукому огрызку  
                    кровавого обеда  
на чёрта она\*.

И среди всей ура-барабанной продукции, в которой предел пошлости остался всё же за Игорем Северянином в стихе «Германия и Бисмарк / Солдату русскому на выморк», среди всей этой дряни Маяковский имел полное право сказать:

Единственный человеческий  
среди воя  
среди визга  
голос  
подъемлю днесь.

За этот человеческий голос мы и любили Маяковского. А я особенно полюбил его за то, что он научил меня, с одной стороны, понимать, что поэзия, это, вместе с тем, – и идеология, а с другой стороны – презирать приспособленческое виршеплетство. Никогда не забуду его выстрела по трубадурам войны: «Они думают, что достаточно в заученные размеры ввести слова “пулемет”, “пушка”, и вы войдете в историю, как бард сегодняшнего дня...»

Это полезно напомнить поэтам наших дней, которые полагают, что введя в свои строки слова «пятилетка», «колхоз», «целинные земли», «кукуруза», – они создают поэзию социалистического реализма.

Слушая Маяковского, хотелось побольше набрать в грудь воздуха – так он был свеж и вкусен: Маяковский озо-

---

\* Здесь и далее цитаты приводятся по рукописи В. И. Нейштадта. – В.К.

нировал его. Но был рядом с Маяковским еще поэтический цирк эго- и кубофутуристов. В нем жеманно и нагло вато ломался на трапедии слов Игорь Северянин, обладавший иногда всё же какой-то притягательностью. У ковра работал Бурлюк – забавный рыжий, объявивший войну предложениям:

Каждый молод, молод, молод,  
В животе чертовский голод –  
Всё, что встретится пути,  
Может пищу нам идти.

Эти строки вот запомнились. Может быть, потому, что в свое время их тоже хотелось (хоть и боязно было) взять в свой арсенал, как доброе оружие против романтической пудры. Была, стало быть, тяга, вряд ли осознанная, к реализму, и была непреодоленная склонность к романтизму. Эту склонность только подстегивали (по закону контраста) резвившиеся в цирке безобразники вроде Крученых, Василиска Гнедова и tutti quanti. А тут еще напознал ядовитый туман дешевых стилизаторов (было б тогда догадаться, что это – дешевка!), которыми кормилось существовавшее тогда псевдоискусство мелодекламации. Они были до ужаса въедливы, эти отравители!

Конечно, когда мы читали творения какого-нибудь Модеста Дружинина:

Зачем тебе хранить свою невинность,  
Себя напрасно страстию терзать –  
Отдай природе дань, отдай эту повинность  
И мне позволь тобою обладать! –

то мы понимали, что имеем дело с пошляком и дураком.

Когда мы читали так возмущившие Льва Толстого строки Северянина:

Вонзите штопор в упругость пробки,  
И взоры женщин не будут робки... –

нам было ясно, что это сознательное хулиганство, рассчитанное на щекотанье нервов разжиревшего обывателя.

Но когда изо дня в день газеты и журналы, альманахи и целые сборники вдавливали нам в мозг:

Здесь со мною гуляла Нинетта,  
В этом парке ее я встречал  
И в певучих раздумьях сонета  
Здесь ее РАНДЕВУ (!!) воспевал...\*

Или:

У палача была любовница,  
Она любила пенный гог.  
Кто знает, где теперь виновница  
Его пленительных тревог?..\*\* –

то мы уставали сопротивляться и начинали принимать это за чистую монету, и я до сих пор не знаю, было ли это бабство, пародия, или авторы этих «жемчужин» искренно считали себя жрецами нового искусства? Скорее всего, последнее. Ведь они даже отмежевывались от стилизаторов-отравителей. В памяти моей осталась декларация одного из этих жрецов:

---

\* Это стишки Эренбурга!

\*\* Творчество Л. Никулина.

Мишурных фраз трескучие хлопушки  
Отравят тот свободный, звонкий стих,  
Который пел когда-то гордый Пушкин,  
Который рос, вздымался и затих.

Сколько раз декламировал я эти строки в кругу молодежи, не понимая, что они-то и есть трескучая хлопушка, и что автор их выпустил немало еще более трескучих хлопушек, и что он и ему подобные являются самыми страшными отравителями, потому что пошлость их замаскирована мишурой.

.....

Как щепка носился я в этом словесном водовороте, прибываясь то к одному, то к другому берегу и всё больше теряя ориентацию. Я продолжал писать, пробуя себя в разных стилях и в разных жанрах, насилюя свой вкус, стих, свою природу, подделывая свой голос под «больших». Я писал «песни бродяг», еще не испытав вкуса бродяжничества (может быть, тут сказалось влияние Горького, ранними рассказами которого я увлекался). Я писал стихи о судьбах России – два таких стихотворения я послал Брюсову в «Русскую мысль», но он, как и следовало ожидать, бросил их в редакционную корзину. Я сочинял «матросские песни», но, хотя я плавал на «Святом Андрее» и матросское дело было для меня не умозрительным понятием, в песнях моих не было песенности, не было живого мяса, а была стилизованная мишура:

У нас на «Святом Андрее»  
Крепкие мачты и реи –  
Ставь скорей паруса!

И нет на свете храбрее  
Матросов «Святого Андрея» –  
Ставь скорей паруса!

От матросов я переходил к рыцарям и королевам, от рыцарей спускался в окопы (к чести моей, о победе я не писал!), пытался воспеть трудную жизнь солдата. Но всё это было, как я чувствовал, не настоящее. Я не умел выразить самого себя. Я шел от литературного образца. Это был наигрыш, и это мучило меня. Я переставал верить в свои силы, отгонял от себя сочинительский зуд, спасался пафосом изучения «Слова о полку Игореве», лечился спортом, погружался в шахматы. Ими я стал очень увлекаться после знакомства с Алехиным (в 1915 г.). Играл, сочинял задачи, принимал участие в конкурсах решений задач и этюдов. Именно в шахматном отделе «Нивы» в 1915 году впервые появилась в печати моя фамилия. Но от этого я не получил такого удовольствия, какое получил герой чеховского рассказа, с журналом ни к кому не бегал и в нос его не тыкал.

Но ни спорт, ни шахматы от стихов меня не увели.

В 1916 у меня умер отец, и смерть его я воспринял очень тяжело. У меня началась депрессия. В стихах моих появились мрачные ноты, тема смерти. Но сами-то они были мертвые, вот что грустно было... Свои тетради 1915–1916 годов я уничтожил. Это было вызвано и отвращением, и безжалостным приговором старшего друга, доктора Ш., который лечил нас после смерти Семена Исаевича и очень тепло относился ко мне. Мнением его я дорожил.

Так погибла со всем прочим моя поэма «Королева Ортруда», и хорошо, что погибла. И я было прочно позабыл содержание этих тетрадей. Но в 1945 году мне пришлось случайно перечитать несколько моих стихотворений того времени, сохраненных дружескими руками. Одно из них я переписал, как симптоматическое. Вот оно:

В воды молчания бросил кольцо обручальное –  
Тихо сомкнулись над ним серебристые воды.  
Молча склонил я лицо невозвратно печальное,  
Молча помчались к престолу времен невозвратные  
годы.

Вечность расширила пасть над испуганным миром.  
Годы казались минутой, столетья – часами.  
Я, успокоенный вечно холодным эфиром,  
Вижу престолы богов неживыми глазами.  
К месту прикованный вечно силой железной,  
Сын необычной судьбы, раб мировой непреложности,  
Молча склоняю лицо над холодной вечною бездной,  
Зрю письмена божества и предвижу возможность  
возможности.

Опять вечность, как видно, не дававшая мне покоя. Но как далеко эта мрачная фантазмагория ушла от непосредственного чувства красоты, выраженного в моем детском стихотворении, которое я привел выше. Так далеко, что дальше идти было некуда. Это был предел игры. Нужно было искать свежего воздуха. Я собрался было опять в море, но не пришлось. Пришла февральская революция, потом Октябрь.

Революция вошла в мое сознание легко и властно. Хотя она ломала привычный мне уклад, она казалась мне естественной и необходимой. И она требовала действительности, практической работы. Ничего, что университет еще не был закончен, можно было совместить работу и учение (страшное слово «учеба» тогда еще не было пущено в оборот).

Много моих друзей филологов работало уже в Наркомпросе, в котором был организован Библиотечный отдел под началом Валерия Брюсова. Нужно было собирать книжные богатства страны, разбросанные по сиятельным

и помещичьим библиотекам. Направили и меня к Валерию Яковлевичу. Познакомились. Меня бил внутренний трепет. Вот рука, написавшая «Поэту»:

Ты должен быть гордым, как знамя;  
Ты должен быть острым, как меч;  
.....  
И помни: от века из терний  
Поэта заветный венок.

Рука, написавшая «Служителю муз»:

Но только страстное прекрасно  
В тебе, мгновенный человек!

Рука, написавшая мне – «Начинающему»:

.....  
Пиндар, Вергилий и Данте, Гёте и Пушкин – согласно  
В явные знаки вплели скрытых намеков черты.  
Их угадав, задрожал ли ты дрожью предчувствий  
неясных?  
Нет? Так сними свой венок: чужд Полигимнии ты.

И эту руку я пожимал. Я забыл о цели своего прихода и отрекомендовался «начинающим».

– Позвольте, – сказал Брюсов, – это вы прислали мне стихотворение с эпиграфом из «Слова о полку Игореве»: «На тоце живот кладут, веют душу от тела?»

Я вытаращил глаза: такое стихотворение я, действительно, послал в «Русскую мысль», но ведь это было три года назад, и я успел уже позабыть об этом. А Брюсов, оказывается, не забыл. Я не знал, что Брюсов обладал феноменальной памятью на стихи и к тому же очень любил удив-

лять этим собеседников. И сейчас, видя мое изумление, он расцвел.

– Очень плохое стихотворение, – продолжал Валерий Яковлевич с усмешечкой, – но кода была в нем не без остроумия. Позвольте напомнить:

Довольно дух от тела веять,  
Ходить покорною рысцой,  
Не говорить, а только бляеть  
И быть романовской овцой\*.

У меня было: «Довольно по-овечьи бляеть / И быть романовской овцой». Но я молчаливо принял поправку (вероятно, случайную) Брюсова, а он добавил:

– Вы что же, хотели меня и редактора в тюрьму посадить?.. – И без всякого перехода: – Ну-с, так вы желаете в наш отряд эмиссаров?

Начался деловой разговор. Мы сразу чуть было не посорились, нелегкий он был человек. Но ничего – обошлось. И в дальнейшем, когда не раз наши отношения обострялись, стоило мне только произнести какую-нибудь его строку, и вся моя обида улетучивалась. Как много это значит – любить поэта! И с какой теплотой гляжу я сейчас на сохранившиеся у меня документы времен моего эмиссарства – мандаты, подписанные Валерием Яковлевичем, счет по командировке, не принятый бухгалтерией, на котором стоит: «Утверждаю. Валерий Брюсов».

Итак, я стал разъездным эмиссаром. Мне поручался вывоз в центр ценных помещичьих библиотек, что было

---

\* Соль заключается в том, что здесь понимаются верноподданные овцы царя Николая Романова, но «романовская овца» – это в то же время порода русских овец.

в те времена не так просто, ибо власть на местах не всегда покорялась центру и не желала расставаться с ценностями своего района. Сколько приходилось уговаривать, убеждать, доказывать. Мандаты помогали меньше, чем устное слово. Я побывал почти во всех уездах московской губернии, заглядывал во Владимирщину, объездил всю Ярославщину, где было много культурных гнезд, например, имение Лихачева в Пошехонском уезде, в котором имелась ценнейшая библиотека в 20 000 томов, собранная несколькими поколениями.

Это были трудные поездки, требовавшие и физических сил, и смелости: удобств на железных дорогах тогда не было, да и на лошадях приходилось частенько добираться – сотни верст изъездил, а банд всяческих встречалось немало. Но в этих поездках передо мной раскрывалась страна, раскрывался народ. Провинция и деревня, бывшие для меня лишь литературными образами, разворачивались теперь в их конкретном бытии. В какой-нибудь глухомани я встречался с незатронутым еще старорежимным бытом, с домостроевщиной, ладаном, квасом и густым послеобеденным храпом. А рядом всходили зеленыя новой жизни. Я воочию зрел кулака и бедняка в их исконной борьбе. Наблюдая разворошенные остатки помещичьего уклада, я начинал понимать, что означает декрет о земле для деревни. Я своими глазами видел, как старая Россия становилась Россией советской. Годы 1918 и 1919 были для меня большой школой – они заменили мне отсутствовавший в старом Университете курс политграмоты.

А возвращаясь в Москву, я получал мандаты на обходы московских частных библиотек: они брались на учет, и если они представляли какую-нибудь ценность, владельцы их получали право на дополнительную площадь, которая не подлежала реквизиции. Так мне явилась возможность проникнуть во множество московских квартир и понаблю-

дать весь этот развороченный муравейник. Запас наблюдений и впечатлений рос необычно, но не было желания превратить его в образы, в слово. Всё это нужно было переварить и усвоить.

В эти годы я почти не прикасался к поэзии, лишь изредка пытаюсь переводить Маяковского на немецкий язык. Это были мои первые переводческие опыты, очень трудно дававшиеся, да и задача-то была труднейшая, а для меня в сущности непосильная. Но чего бы я не сделал тогда для Маяковского! Я познакомился с ним в это время, встретившись у моего однокашника по университету, Романа Яacobсона, встречался потом на заседаниях Московского Лингвистического кружка, которые Маяковский изредка посещал, встречался у Бриков и на совместных выступлениях в «Кафе поэтов», где я читал свои немецкие переводы. Вращаясь в кругу московских левых поэтов – футуристов, имажинистов и пр., я довольно ясно понимал, что всё это только игра в искусство и что единственный настоящий поэт среди них, это – Маяковский. Я ощущал его гигантскую силу, всю новизну его поэтического мироощущения, упивался мощью и своеобразием его образов, восторгался его словотворчеством, всей его поэтической техникой. И, находясь под его обаянием, очень хорошо понимал, что писать под Маяковского нельзя, что это было бы худшим видом стилизаторства, больше того, это было бы просто обезьяньей ужимкой. В сущности, я повторяю здесь слово самого Маяковского. Как-то в «Кафе поэтов» к нему прилип один из поэтиков и стал, захлебываясь, анонсировать, что он перестраивает теперь свой стих по образцу стиха Маяковского. И тут же получил реплику Владимира Владимировича: «В обезьяны, стало быть, записались». Реплики Маяковского незабываемы, как и весь его образ, и о нем, об этом великане, всегда хочется сказать много-много нежных слов. И всегда мне кажется, что вот много,

очень много написано о нем книг, а самого-то главного о нем никто и не сказал – о той огромной нежности, которая таилась в нем и которую он так тщательно маскировал внешней резкостью, а подчас и грубоватостью. Это была у него самозащитная реакция.

В те дни мы, конечно, еще не понимали, а только ощущали и предугадывали значение Маяковского. Но одно мы знали твердо (мы, это – те, кто относился к искусству, по меньшей мере, с уважением): поэзия Маяковского, помимо ее политического звучания, с особой силой раскрывает единственно правильное отношение к поэтическому образу как к поэтическому смыслу. Стихи Маяковского ясно показывают, что поэтический образ не только нельзя «ни съесть, ни выпить, ни поцеловать», его нет надобности ни видеть, ни слышать – он дается непосредственно как смысл. В самом деле, как можно зрительно, или на слух, или на ощупь воспринять такие вот образы Маяковского:

Петь не могу.

У церковки сердца занимается клирос.

Или:

Улица корчится безъязыкая,  
Ей нечем кричать и разговаривать.

Или:

Умерших слов разлагаются трупики.

Или:

Мой крик в граните времени выбит  
И будет гремять и гремит,  
Оттого, что в сердце, выжженном, как Египет,  
Есть тысяча тысяч пирамид.

«Церковку сердца» (да еще в детали – клирос!), «трупки слов», «гранит времени» – зрением, конечно, не схватишь, так же, как не схватишь ухом «крик, выбит в граните времени», но поэтический смысл этих образов сознание, разумеется, схватывает, и это доказывает лучше всяких теоретических рассуждений, как неправы примитивные поэтики и эстетики в определениях образа. Конечно, в этом можно убедиться, раскрыв любого настоящего поэта, но у Маяковского очень уж это выпукло и ударно...

Летом 1920 года кончились мои эмиссарские разъезды, кончились заседания в Лингвистическом Кружке и выступления в «Кафе поэтов»: я был мобилизован в Красную Армию. Полк – штаб МВО – Особая Военная Школа Красных Командиров. Со школой я переехал в Ленинград. Кронштадтские события, контузия под Кронштадтом...

За это время я написал несколько стихотворений (казарменные впечатления). Но всё же литература и наука отошли в какое-то далекое-далекое прошлое. Еще дальше отошла музыка. С 1917 года я почти не прикасался к инструменту, но зато я насыщался камерной музыкой, присутствуя на репетициях квартета, организованного тогда моим учителем и другом, профессором Московской консерватории Иосифом Рывкиндом. Следить за лабораторной работой мастеров, это – великое счастье, это дает несравнимо больше, чем концертный результат, для уразумения сущности произведения. Так передо мной раскрылись глубины квартетной музыки Гайдна, Моцарта, Бетховена, романтиков, Чайковского, Бородина. Но в июне 1920 года, незадолго до моей мобилизации, когда я только что оправился от сыпного тифа, Иосиф Рывкинд погиб от брюшного тифа. Для меня это была тяжкая потеря. С тех пор я не вынимал из футляра своей скрипки, и скоро я продал ее. И очень много лет я не мог слышать квартетные выступления. Мне и сейчас это причиняет боль...

Но оторванный разом от всякого искусства, я тосковал – тем более, что последняя моя военная работа протекала в немецкой среде и я почти не разговаривал по-русски. Лишенный своего поэтического круга, я был лишен и своего родного языка – где уж тут было писать стихи!

Мне казалось, что я никогда больше не вернусь к литературе, к науке, что надо искать каких-то других путей в жизни. Но едва я демобилизовался в 1922 году, как меня вновь неудержимо потянуло к перу. Никакие другие занятия меня не устраивали. И я полагал, что имею право выбирать, так как за спиною была уже какая-то жизненная школа. Вот я и выбрал профессиональный путь литератора, стал сотрудничать в журналах. Начал с самой мелкой работы, поставлял заметки бытового и литературного характера, давал сводки о литературной жизни за рубежом, переводил иностранные статейки. Потом я стал писать фельетоны и очерки, пробуя себя в разных жанрах. Тут меня привлек еще один жанр. Восемь лет мы были оторваны от зарубежных литератур, не получали книг, не знали, чем дышала все эти годы зарубежная поэзия. И вот блокада была прорвана, в 1922 году в Москву стали поступать книги из-за рубежа. Летом я приобрел в государственном книжном магазине (который помещался тогда на площади Свободы, бывшей Скобелевской, ныне площадь Моссовета) свыше ста книг немецких экспрессионистов, в том числе сборники стихов Ван Годдиса, Лихтенштейна, Гейма, Бехера, Газенклевера, Клубунда, Эренштейна и др.

Всё это было для нас абсолютной новинкой. Я заинтересовался немецкими поэтами, сделал о них доклад в Лингвистическом Кружке (он продолжал еще свое существование) – доклад вызвал интерес; потом перевел несколько стихотворений, показал в редакциях – и переводы вызвали интерес, их напечатали. Я перевел еще несколько десятков вещей, собрал в книжку и предложил ее

издательству «Круг». Н. Н. Асеев дал о ней хороший отзыв, и в 1923 году она вышла в свет под названием «Чужая лира» с чудесной обложкой работы Георгия Ечеистова. Теперь я искренно считаю, что это лучшее, что есть в книжке, но тогда на книжку обратили внимание – в ней был интерес новизны.

Почти одновременно с «Чужой лирой» вышел в издательстве «Всемирная литература» мой перевод «Зимней баллады» Гауптмана (драма в стихах). Две книжки, одна за другой, – для начинающего литератора это был крупный успех, который мог вскружить голову. Но я не поддался искушению, не бросил газетно-журнальной работы. Я перешел на постоянную (штатную) работу в газету «Вечерняя Москва» – на амплуа заведующего «московским отделом», в который тогда входило всё, за исключением иностранного и театрального отделов. В моем распоряжении было семь штатных репортеров и один штатный фельетонист. Фельетоны изредка писал еще наш ответственный секретарь, писал я сам, а через некоторое время начал писать заведующий художественным отделом «Рабочей Москвы», милый Женя Петров, ставший впоследствии знаменитым Евгением Петровым. Я могу гордиться, что был крестным отцом Петрова (первый его фельетон о московских нищих, талантливо написанный, я отверг – тема была неподходящая, а второй принял), да и Лев Славин начинал у меня в отделе – вообще из коллектива сотрудников «Вечерней Москвы» 20-х годов вышло много ныне известных людей пера, – но делать ежедневную газету большого формата, имея в составе редакции 16 человек (считая курьера и уборщицу), было не так-то легко. Газета отняла у меня много сил, зато школа это была превосходная.

Проходя эту школу, я совсем не думал о стихах, если не считать стихотворных фельетонов. На стихи не оста-

валось ни времени, ни сил, ни нервов. В конце концов я заболел от переутомления. Осенью 1925 года я после долгого перерыва вновь попал в Крым. Приехал я совершенно замученный. При виде моря я не мог сдержать слезы: у Байдарских ворот я, сойдя с машины, убежал от спутников и плакал, как ребенок. Пять недель я провел в Гаспре, где жил когда-то Толстой и где его навещал Чехов. Я спал в комнате, в которой была спальня Толстого. Вся Гаспра была для меня овееяна его именем. Я не мог читать, но многое из живших у меня в памяти произведений Толстого переживал заново и по-иному.

А внизу расстилалось море. Море – великий целитель – вновь подарило мне покой и сладкое томленье. Я отогревался в его красках, в его беспредельности, в шуме его прибоя – многих этот шум раздражает, но я этого просто не постигаю: для меня нет ничего более ласкового, чем шум морского прибоя, когда море спокойно. И здесь у моря (или из моря) вновь пришла ко мне муза. Зашевелились в голове образы, рифмы. А ведь с образов, с рифм, с ритма – с чего угодно, только не с темы – начинается акт поэтического творчества. С темы, с плана начинается рассказ. В лирических стихах перворожденные «образы» и подведут вас к нужной теме.

С трепетом нацарапал я на бумаге первые строки, еще не собранные в строфы. Поначалу я просто отдавался их власти, мне было сладко ощущать их в себе, слышать их внутренним слухом, а потом видеть их на бумаге. Но мало-помалу я начал командовать ими, подминать их под себя. Стихи получались – я чувствовал это. Налицо было самое главное: у меня было что сказать, и кто-то во мне понимал, как это надо выразить. Но было и еще что-то – совсем для меня новое. Его определил мне один из моих слушателей, когда я недели две спустя прочел кое-кому несколько своих стихотворений: «В ваших стихах, – сказал он, – чув-

ствуется, что вы много пережили». Тогда я понял: боль, жившая во мне, утихла от ласки моря, отодвинулась от меня, но строкам моим она дала живую жизнь, правду искусства. Помните, как у Маяковского:

Боль берешь,  
Растишь и растишь ее...

Я долго растил свою боль. Искусство надо выстрадать. А иначе – стилизация, риторика, эпатированье, каким занимались футуристы, дадаисты, экстремисты и как там они еще себя называли. Иначе – игра в искусство. Я из игры вышел. Кончился наигрыш с чужого голоса. У меня появился свой голос. Так у человека, не умевшего плавать, вдруг появляется ощущение, что вода его держит. Но даже самый замечательный пловец не может плавать в ванне. Здесь он может только «делать вид» – лежа брюхом на дне и взбивая ногами воду. Не то же ли и поэт? Поэт – если он гений – может плавать в океане своей эпохи, если он не гений, он может плавать в бассейне своего таланта, но плавать в ванне управляющего искусством он не может. Если же другого места для плавания нет, то либо искусство поэта уходит в стол, в нети, либо сам поэт уходит от искусства. То и другое одинаково трагично, но третьего не дано. Ибо совсем нетерпимо лежать на брюхе в ванне и дрыгать ногами. Не дело художника холодно имитировать могучую страсть, как это делают те, кто работает в домах с красными фонарями.

Так мне казалось тогда, в Гаспре, в доме, где жил когда-то Толстой, где его навещал Чехов.

Теперь я в этом уверен.

*1–24 апреля 1955 г.*

## «Я БОЛЬШЕГО У ЖИЗНИ НЕ ПРОСИЛ...»

О Владимире Нейштадте

В конце 1980-х годов в литобъединение «Медик», которым руководил Вадим Ковда, пришел выступать и «беседовать с молодыми поэтами» Лев Адольфович Озеров. «Беседуя», он – после всяческих занятий и тем, на встречах такого рода обязательных, – коснулся и необходимости изучения «поэтов второго ряда». Пусть в тот момент во «второй ряд», вместе, например, с Юрием Верховским, невзначай угодили Ходасевич и Шенгели. Дело в другом: раньше получалось, что русская культура, щедрая и богатая, фигурами не крупными как бы не интересуется, если затрагивает их, то этак лениво, по касательной. Конечно, *время было такое* – успевай только публикуй залежи, золотые запасы неизвестных народу блистательных текстов. Но то, что Озеров уже тогда заговорил об этом, свидетельствовало, что расточительная инерция конечна.

Вовсе не каждый поэт смирится с принадлежностью ко «второму ряду». *Смиранных* в этом деле меньше малого; каждый творит свой мир и чувствует себя так, как положено творцу. Один из немногих, Владимир Ильич Нейштадт (16 (28). 7. 1898 – 16. 4. 1959) и не думал претендовать на «величье»:

Я не хочу ни славы, ни величья,  
Ни громких слов себе и ни похвал,  
И каменного не хочу обличья.

Хочу, чтоб просто кто-нибудь сказал  
Лет через сто: «Вот жил Нейштадт Владимир  
Сто лет назад и песни сочинял».

По правде говоря, и при жизни он был значительно менее известен как поэт, нежели как переводчик или литературовед. Единственная книга стихов «Пять шестых: Стихи и переводы» (М.: Московское товарищество писателей, 1937) поэтического имени ему не сделала – в отличие от сборника переводов «Чужая лира», вышедшего в 1923 г. и составившего автору если не «славу», то, во всяком случае, репутацию. Репутация эта держится до сих пор: среди профессионалов, историков и теоретиков перевода, словосочетание «Владимир Нейштадт» – вовсе не *звук пустой*. По-прежнему интересны исследователям его писания о немецких экспрессионистах. Но оригинальные стихи и среди товарищей по цеху остаются «terra incognita».

Меж тем для него самого они значили очень много – кажется, гораздо больше, чем он хотел или мог показать современникам. Достаточно сказать, что в автобиографии «Дорога к искусству» о поэзии говорится совсем не походя и не вскользь, как о переводе; можно прибавить еще, что и дочь Нейштадта, Ирина Владимировна Фальк, через без малого тридцать лет после его смерти говорила о нем именно как о поэте...

Бросив самый поверхностный взгляд на подготовленные им к печати (неопубликованные) «книги стихов» «Отречение», «Стихи разных лет» и «Рукопись для трех друзей», поражаешься лакунам, например, зияющему провалу: между серединой 20-х и серединой 50-х – сколько лет? В это тридцатилетье печатались (и публиковались) сатирические стихотворения политического содержания (газета «Уральский рабочий», журналы «Октябрь», «Рост»).

Но поэт, в конце концов, – это не столько даже стихи, сколько все-таки особое состояние сознания. А *переводчиков*, как говорил С. В. Шервинский, в чистом виде не бывает: только поэты, иначе – никому не интересная ремес-

луха. Конечно, Нейштадт, зарабатывавший на жизнь именно переводами и, кажется, вовсе не считавший свое занятие литературной поденщиной, сталкивался с «заказом», с «потоком». Но и здесь бывали встречи с настоящим, благодаря чему можно было и не говорить о многом, раз уж на другом языке кем-то сказалось лучше, чем сделал бы ты. И лира не перестает быть лирой только потому, что она «чужая»...

В том, как Нейштадт пишет о себе, сразу бросается определенная и заметно тенденциозная «точка зрения»: записывается лишь то, что важно *для поэзии*. Меж тем жизнь его и сама по себе небезынтересна. Дополняя его собственную картину, я пользуюсь как архивными материалами (РГАЛИ, ф. 1525), так и записанными мною рассказами Ирины Владимировны.

Отец Владимира Нейштадта – ярославский мещанин, портной, потомок переселенцев из Познани. Дед по матери – профессиональный музыкант, учившийся в Московской консерватории и лишь по несчастной случайности ее не закончивший, любимый ученик П. И. Чайковского. О жизни и судьбе деда, о музыкальных талантах прадеда В. И. Нейштадт впоследствии будет много размышлять, задумает даже написать очерк «Из прошлого (Жизнь моего деда)» (РГАЛИ, ф. 1525, оп. 1, е. х. 161). Вообще музыка, искусство оказались в семье как бы наследным даром.

Вскоре после рождения Владимира семья переехала в Москву. Здесь он закончил Императорскую Московскую практическую академию коммерческих наук (учебное заведение по статусу приравнивалось к реальным училищам). В 1915 г. поступил на историко-филологический факультет Московского университета, где слушал, в частности, лекции профессора Матвея Никаноровича Розанова («Литература эпохи Возрождения», «Литература эпохи Просвещения», «Французская литература XIX века»),

чуть позже, в 1921 г., ставшего академиком Советской России. Быть может, именно благодаря М. Н. Розанову Нейштадт впоследствии, в конце 1930-х гг., станет задумываться прежде всего о *связях* между культурами. В университете он изучал иностранные языки; овладел французским, английским, греческим, румынским, чешским и др. Посещал также занятия на электротехническом факультете. С 1916 г., после смерти отца, стал самостоятельно зарабатывать на жизнь – в основном уроками; благодаря им весьма основательно, как сам писал, продвинулся в немецком. Летом, когда уроков не было, отправлялся искать иных заработков – работал поездным контролером на Московской Казанской железной дороге, плавал матросом на рыбачьем бриге «Святой Андрей», приписанном к Ялтинскому порту; таким нетривиальным образом, кстати говоря, лечил начавшийся туберкулезный процесс в легких. Самое удивительное, что вылечил.

В Москве Нейштадт активно посещал занятия Московского Лингвистического кружка. Сохранилась краткая история МЛК, написанная им в соавторстве с А. А. Буслаевым и Б. В. Горнунгом в 1956 г. Подробный рассказ о Кружке здесь соблазнителен, но неуместен; необходимо лишь отметить, что перед нами – типичный для того времени (и, между прочим, довольно уже редкий для нас) случай, когда «теория» не мешала «практике», «штудии» не отменяли «любви», а изучение никак не препятствовало сочинительству. Напомню, что среди рьяных посетителей филологического Пушкинского семинария-кружка С. А. Венгерова в Петербургском университете – поэт Осип Мандельштам, который, кстати, в 1920-е годы бывал гостем Нейштадтов (Владимир Ильич женился в 1920 г., Аида Дмитриевна также была переводчицей) в квартире на улице Разина (бывшей и настоящей Варварке). Случайно или нет, но в «Отречении» Нейштадта некоторый «мандельш-

тамовский призывк» (еле уловимый: слишком разные все-таки поэтики) нет-нет, а слышится. На одном из листов со стихами домашний адрес записан, правда, много позже: «Москва. Ул. Разина 24, 18. Тел. Б 3-99-86». В МЛК бывал Маяковский. Племянник и полный тезка В. И. Нейштадта опубликовал небезынтересные воспоминания дяди об этой поре: Маяковский «устроил... читку своих стихотворений по-английски, по-французски, по-немецки и... по-старославянски, причем мой дядя (оканчивавший тогда историко-филологический факультет МГУ) как раз и должен был прочесть одно из произведений Маяковского на языке Кирилла и Мефодия. “В последнюю минуту, – вспоминал он впоследствии, – я было струсил. Но Маяковский сказал решительно: “Давайте Мефодия”, – и я шагнул на эстраду.

– Сейчас вы услышите самого живого поэта на самом мертвом языке, – выпалил я и зашаманил по-славянски:

К брадобрею приход и рекох  
Хошту отъче да причешеш ми уши...

Едва я кончил читать, в зале поднялось настоящее возмущение.

– Что это такое?.. Издевательство!.. Переведите эту тарабарщину!..

Кричали, свистели, топали. Я растерялся. Но рядом со мной выросла надежная фигура Маяковского. Он поднял руку, и зал успокоился.

– Не понимаете? – спросил Маяковский.

– Не понимаем, – ответили в зале.

– Я тоже не понимаю.

Смех. Кто-то крикнул:

– Прочтите по-русски.

– Имел в виду, – парировал Маяковский. – Читаю эти стихи, как они написаны мною: на великолепном русском языке. И начал:

Вошел к парикмахеру, сказал – спокойный:

“Будьте добры, причешите мне уши” и т. д.

Когда кончил читать – заплодировали.

– Понятно? – спросил Маяковский.

– Понятно! (ответили дружно).

– А говорят, Маяковский непонятен. Есть вещи куда непонятнее».

Предреволюционные и послереволюционные годы сам Нейштадт описывает достаточно подробно: разъездной эмиссар Библиотечного отдела Наркомата Просвещения, переводчик в штабе Красной Армии, преподаватель в Особой Военной школе Красных командиров в Ленинграде, участник Кронштадтского сражения... После демобилизации Нейштадт возвратился в Москву и начал систематическую и профессиональную литературную работу. Служил в Центропечати, потом в Госиздате. Его не миновала общая в те годы для множества «молодых», даже и не «начинающих», авторов газетная стезя; занятно было бы при хорошем случае проследить традиции бытописателя-фельетониста В. А. Гиляровского в той же «Вечерней Москве». Но, помимо «Вечерки», были и «Смена», и «Прожектор», и «Современный Запад», и «Рабочая Москва», «Гудок»... Репортер, фельетонист, литературный правщик – такое разнообразие амплуа также было вполне в духе времени. Неудивительно, что спустя несколько лет, в 1931 г., он вдруг отправился в Арктику, на Шпицберген, и работал на угольном руднике опять-таки «в самых различных качествах». Вел дневники своей «экспедиции» – по-немецки. Чуть позже ездил и на Урал.

До начала Великой Отечественной войны он сделал очень много: по его собственным подсчетам, это десять книг и полторы сотни статей. Помимо любезных сердцу и уму современников – немецких экспрессионистов, Нейштадт переводил Гёте («Эгмонт»), Гейне, Бодлера; румынс-

ких, греческих, литовских, чешских (С. Неймана, В. Незвала и др.), испанских поэтов; фольклор разных народов (в 1936 г. вышла подборка его переводов песен полярных эскимосов, один из первых опытов знакомства с поэтическим наследством народов Крайнего Севера); сборники И. Бехера («Асфальт», 1936), Э. Вайнерта («Избранные стихи», 1935), Р. М. Рильке, Б. Брехта, А. Лихтенштейна, М. Бартеля, Э. Толлера, Б. Нушича... Делал и переводы с русского, в частности – поэмы Маяковского «150 000 000», «Слова о полку Игореве» (с древнерусского на современный русский и немецкий), сочинений Пушкина и Лермонтова. В 1937–1941 гг. публиковал статьи о мировом значении русской словесности («Толстой в мировой литературе», «Пушкин в мировой литературе», 1938 – в этой теме он оказался пионером; «Чехов за рубежом», «Лермонтов на Западе», 1939). Писал о Тургеневе, Толстом, Чехове, Горьком, конечно же, и о Маяковском, перед которым преклонялся. Занимался историей шахмат (кстати говоря, однажды в один из сеансов одновременной игры сам великий шахматист А. А. Алехин проиграл партию юному Нейштадту) и... балета, что сам рассматривал как культурологические исследования. Разумеется, писал о теории перевода. В 1950 г. осуществил издание сочинений А. С. Пушкина на немецком языке.

Квартира на Варварке – ул. Разина усилиями радушных хозяев превратилась не то в кружок, не то в салон. В. Арго, В. Мансурова, К. Корчмарев, Л. Горнунг, артисты-«вахтанговцы», Г. Нейгауз, И. Андроников, О. Шмидт, назвавший Нейштадта «самым умным другом», – частые здесь гости. «Хрустальный человек с тончайшей поэтической душой, талантливый во всем» (И. В. Фальк) привлекал к себе и человечески, и профессионально: так, Мандельштам, с которым Нейштадт встречался в редакции «ЗиФ», считал его одним из лучших переводчиков. В тяжелой и конфлик-

тной для Манделъштама ситуации конца 1920-х, сложившейся вокруг перевода «Тиля Уленшпигеля», Нейштадт встал на сторону поэта, активно выступив на Конфликтной комиссии против его травли.

Во всем, что касалось творчества, Нейштадт проявлял завидную – и не вполне типичную для эпохи – принципиальность и индивидуализм. Отказывался, например, публиковаться в числе многих – такие коллективные подборки называл «автобус». От происходившего вокруг, в профессиональной среде, от обстановки в стране в 1930–1950-х страдал ужасно. Отвращение и страх прорывались в стихах – едва ли не все произведения этого рода оказались в середине 1950-х гг. в составе книги «Рукопись для трех друзей», которую поэт собрал – без надежды на публикацию – так же, как более ранние «Отречение» и «Стихи разных лет». Быть может, именно поэтому «Рукопись» не попала, среди прочих его бумаг, в хранилище тогдашнего ЦГАЛИ, оставалась у дочери. Надо думать, молчать и бояться было тяжело тогда всем; но ему – например, во время Отечественной войны – выпали совсем особые переживания. Призванный уже в сентябре 1941 г. ГлавПУРКА и назначенный «инструктором-литератором» в 7-й Отдел Политуправления, Нейштадт должен был проявлять к себе высочайшие требования самоцензуры. Он работал по разложению войск противника, готовил листовки, тексты для окопной звуковой пропаганды, на переднем крае наблюдал за поведением фашистов, руководил заброской пленных. Специалистом был, что говорить, и редким, и ценным: ведь людей его возраста – сорокатрехлетних солдат Революции – в 1941 году еще не призывали...

Тонкий знаток и ценитель античной культуры – солдат двух войн, сражавшийся на передовой, за боевые задания получивший орден Красной Звезды, – гуманитарий-теоретик, историк, поэт и потомок музыкантов – репор-

тер и фельетонист – полиглот, влюбленный в Маяковского и в русскую культуру, исполненный самоиронии, – таким разным видится Владимир Нейштадт. Каково ему было перескакивать из эпохи в эпоху, отказываться от поэзии, вытесненной другими занятиями, причем и недобровольно избранными, – разве узнает об этом далекий потомок? Преданность культуре, если угодно – *мандельштамовской* «мировой культуре», бросается в глаза сразу, например, при чтении его поэм об Испании, написанных в тяжелом для страны 1937 году. Дело не в героической и оттого несколько – на наш сегодняшний слух – излишне тяжеловесно-патетической стилистике «Стихов об Испании». Дело в том, что в разгромленном Мадриде солдаты спасают из огня Мурильо, Гойю, Риберу, а самого автора в далекую страну приводит Сервантес и Ласарильо с Торреса, и после этого Испания становится чуть ли не второй родиной: таких «родин» у иного читателя столько же, сколько на земле культур. Вспоминается: «Я мстил за Пушкина под Перекопом...».

При этом поэзия его – особенно на контрасте с личностью – видится удивительно монолитной, хотя связанная с течением жизни смена интонации, конечно же, заметна. Контекст 1920-х, возникавший в амплитуде Маяковский – Мандельштам, разительно отличается от поэтических 1950-х, когда интонация, говоря условно, определяется голосом Твардовского. Ритмические эксперименты 20-х («Вече», «Еще раз Катулл») недаром сменяются в 50-е «Герцинами», значительно более созвучными своеобразному «неоклассицизму» послевоенного десятилетия. А вместо грустных парадоксов («Нет, не нужен человеку отдых, // Потому что человек не вол») появляются почти басенные моралите: «Но вот вопрос: // К чему подковырять собаку?».

Метафизика жизни, по-видимому, была *не его предметом*. Хотя о *метафизике слова* он рассуждал упорно – вероятно, не без влияния окружения из МЛК. Неудивительно, кстати, что стихотворение на эту тему, названное «Тяжесть слов» (написано 28 окт. 1925 г.), сам он считал неудавшимся и в основной корпус «Отречения» не включил, хотя и вовсе выбросить листок – рука не поднялась.

Кто не видал, как тают горы снега,  
Кто не видал, как ходят облака,  
Как, взмылившись от радостного бега,  
Вздымает конь тяжелые бока?

Но кто видал – и можно ль видеть оком, –  
Как слово вмиг рождает слов поток?  
<...>  
Нет, нет, нельзя! Не может быть сравненья,  
И нет для слова подходящих слов.  
Оно одно с начала сотворенья  
Не ведало магических углов.  
<...>

Но главное, что делает его стихи разных лет единым поэтическим высказыванием, – это, скорее всего, их музыкальность: то, благодаря чему он говорит о них как о «простых и грустных песнопеньях».

Принадлежность ко «второму ряду» сообщает стихам Нейштадта нечто замечательное. Они хранят не голос «современника *эпохи*», стоящего «с веком наравне» и равновеликого *целому веку*. Здесь отдельная частная жизнь, отзвучивающаяся человеческим голосом; но этот *голос живет*, а речь, обработанная мастером, превращается из «человеческого» документа в историко-эстетический, и в таком случае разговор о каком-то там ряде становится неумест-

ным. Нейштадт – поэт и органическая часть того поэтического контекста, без которого невозможны были бы взлеты гениев. Как бы выспренно ни прозвучало, он – из тех, на которых держится культура, качество его стиха – своеобразная мера счета, определяющая среднюю высоту берега над Летой или, кому как нравится, Стиксом. И поэтому:

Вот полотно истрепанных знамен  
Испещрено моими письменами.

Где каждый знак пойму лишь я один,  
И этот знак другого не встревожит,  
И череду протравленных годин  
Другой понять не смеет и не может.

С другой же стороны, талант, *не гений*, несет значительно больше информации о поколении, к которому автор принадлежит. Ироничное стихотворение «Памятник Гёте» содержит реакцию не одного человека, но многих, воспитанных в ощущении святого восторга перед немецким культурным гением и с трудом – в реальной буржуазной Германии – примиряющихся с «капиталистической» обыденностью. «Возвышающий обман» не поколеблен «низкими истинами», но само соседство их воспринимается если не как крах и гибель, то уж во всяком случае – как личное оскорбление.

И переживание несправедности жизни, однозначная оценка ее: разве так работали Маяковский, Пастернак, Мандельштам, находившие в себе ресурсы для прозрения космических процессов, причастных к «партийным чисткам», к репрессиям, к доносительству и предательству, даже и к собственной – насильственной или вынужденной – смерти? Странно, но *слово найдено* и бытовая, не бы-

тийственная, правда обнажается у таких, как Нейштадт, А. Кочетков, Г. Оболдуев... Так же, между прочим, именно из мемуара Нейштадта мы узнаем об актуальном поэтическом контексте 1915–1916 гг., который представляем себе – по воспоминаниям «великих гениев» – весьма во многом иначе.

Отсутствие «космических прорывов» компенсируется художественной правдой – если хотите, своего рода *реализмом*, – которая и есть поэзия. Об *испачканной стране* Нейштадт высказывается вполне однозначно, без метафизики и метафор, в стихах 1950-х гг.:

На свете нет мучительной страданья:  
Держа слова на языке, молчать  
И понимать всю мудрость умолчанья.

Просто жизнь; простые, не опосредованные рефлексией, человеческие реакции соседствуют в стихах Нейштадта с ощущением некоторого культурного «мы» («А Суровы не любят нас»). А ведь современный читатель совсем не знает, кто такой был А. Суров – фигура в соцреализме одиозная, автор теории «бесконфликтности» (в СССР хоршее конфликтует не с плохим, а, как бы это поточнее, *с более лучшим*). Страшный дебошир и пьяница, автор берущего за глотку шедевра «Рассвет над Москвой», по поводу которого, как вспоминал Л. А. Озеров, в «Литературке» была карикатура: ул. Герцена, ступеньки Дома литераторов, восходящее солнце, и на фоне этого великолепия из двери *выползает* прижизненный советский классик, который *выходить* уже не может. Дебоши его становились писательским фольклором; А. А. Штейнберг рассказывал, как после очередного неумеренного возлияния Суров подрался с другим столпом социалистической словесности, М. Бубенновым, и тот вонзил в него вилку. Протрезвев,

раненый солдат литературного фронта написал жалобу в партком. А Казакевич (с подсказками Твардовского) прямо на заседании, посвященном инциденту, создал сонет:

Суровый Суров не любил евреев,  
Он их всегда и всюду обижал,  
За что его не уважал Фадеев,  
Который тоже их не обожал.

Когда ж, былую ненависть развеяв,  
К ним Суров лучше относиться стал,  
М. Бубеннов, недоброе затеяв,  
За драматургом с вилкой побежал.

Певец березы в ж...у драматурга,  
Как будто это сердце Эренбурга,  
Столовое вонзает серебро.

Но, следуя обычаям привычным,  
Лишь как конфликт хорошего с отличным  
Рассматривает случай Партбюро.

Воистину, «к нравам свинским»...

Быть может, именно из-за пристрастия к «высокому» и презрения к «низкому» ирония у Нейштадта никогда не преступает некоторой «меры», не становится сатирой, эмоционально более сложной – но и менее «чистой». На себя он смотрит так же отстраненно-незаинтересованно – если не более, – как на забавные приметы жизни, на смешные казусы ее: памятник Чайковскому, например, который он воспринимал, благодаря истории деда, как *пристрастный родственник*.

Нынче как-то не принято говорить о непосредственном чувстве – ни у поэта, ни у читателя, ни у, тем паче,

исследователя; но если постараться отвлечься от привычки мудрствовать, пусть даже и не лукаво, то непривычные изощренному уху декларации – как в «Послеюбилейном» или в «Статейка мудрости полна...» – воспримутся без лишней в данном случае ухмылки.

Стихи Нейштадта – *всего-навсего* то, что называется «хорошие стихи», без явных лакомых кусков для стиховедов, без *дикого мяса*. Здесь читатель не кинется в комментарий прежде текста. О хороших стихах, как и о хорошем человеке или положительном герое, говорить трудно. Но мы предпочитаем общаться и доверять себя хорошим людям, так же как и читать – для души – хорошие стихи, а не те, качество которых определить нелегко, а количество разнообразных смелых новшеств легко поддается статистике. Порой в простоте больше эстетической смелости, чем в спецэффекте. Надо понимать, что эта самая «простота» у Нейштадта – путь *выбранный*, поскольку, будучи мастером перевода, с технической стороной вопроса справляться он умел.

Изыщество и органика его поэтической речи, меж тем, дадут внимательному читателю наслаждения изысканные – как в «Пицунде», где меняется схема рифмовки и строфика, а длинные слова делают незаметными ритмические перебои. Или в сонете «Дочь», где причудливая рифмовка не дает читателю ни на секунду подчиниться инерции восприятия. Или в «Овлур! Овлур!», где заведомая «сюжетность» стихотворения чуть не отвлекает от тончайших звуковых превращений в момент кульминации:

Ханской плети яростны ожоги –  
Властвует и тешится Кобяк.

Как трава, *прямата* и *прибита*  
Жизнь тяжелой ханскою рукой.

Или в «Терцинах», где enjambement создает иллюзию говорения и – для читателя – эффект присутствия рядом с говорящим. Такая прозрачность речи – шаг на пути к обучению русской поэзии у прозы, начавшемуся в 50–60-е годы.

Остается сказать несколько слов об Ирине Владимировне Фальк, памяти которой посвящена эта книга. Мы были знакомы в последний год ее жизни. Последним местом ее работы был Государственный Литературный музей. Потеряв ногу, она потеряла и возможность работать. Одинокая и нездоровая, боявшаяся всех и вся, неуживчивая, с гипертрофированным – усиленным болезнью – страхом времени, она ничем не напоминала очаровательную, веселую, взбалмошную, беспечную девушку, поющую смешную песенку, – такой помнит ее по эвакуации в Чистополе Елена Борисовна Левина, дочь писателя Б. М. Левина и художницы Е. П. Левиной-Розенгольц. В 64 года Ирина Владимировна выглядела глубокой старухой. Талантливый скульптор (фотографии своей дипломной работы она показывала), она по каким-то причинам никогда не реализовалась; жизнь ее, кажется, прошла слишком грустно, хотя, конечно, не мне судить. Ирина Владимировна подарила мне копию «Дороги к искусству», а стихи отдала перепечатать с огромной неохотой и ужасом – и тут же, стоило мне доехать до дома, позвонила и потребовала, чтобы я их немедленно вернула. Не без давления с моей стороны был найден компромисс: я приехала к ней с пишущей машинкой – такой вариант ее почти не пугал. Умерла она 17 ноября 1988 года.

Думаю, что, составляя эту книгу, я исполняю чуть не самое заветное ее желание.

*Вера Калмыкова*

---

## СОДЕРЖАНИЕ

---

### ИЗ КНИГИ «ОТРЕЧЕНИЕ»

СТИХИ 1925–1926 гг. МОСКВА

Виноград .....	5
Час заветный .....	6
Катулл .....	7
«Лавры, кипарисы по аллеям...» .....	8
8-ая годовщина Октября .....	9
Ноябрь .....	10
Карклин .....	11
Сад .....	12
Письмо .....	13
Вече	
1. «Скрылось время пышных од...» .....	14
2 «Схвачен и связан, словно вор...» .....	14
Еще раз Катулл .....	15
Смерть Гёте .....	15
Отклики Персию	
1. «Склонились позамшелые века...» .....	16
2 «Слезами порожденная Пирена...» .....	17

### ИЗ КНИГИ «СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ»

Предчувствие .....	18
Перелистывая шеститомник Бехера .....	19
Овлур! Овлур! .....	20
«Когда лисица попадет в капкан...» .....	20
Памятник Гёте .....	21

# РУКОПИСЬ ДЛЯ ТРЕХ ДРУЗЕЙ

Стихи 1954–1955 гг.

## Из «Тетради первой»

«Песня, это – слова, но сколько нужно исканий...» .....	23
Терцины .....	23
Послеюбилейное .....	25
Пророки .....	26
Жизнь (отрывок) .....	27
Старая-старая песня .....	28
«Положено людям терпенье...» .....	29
«Как резинка карандаш с бумаги...» .....	29
«Так бывает: шел и очутился...» .....	30
Тишина	
1 «Есть переулков тишина...» .....	30
2 «Но если улиц кутерьма...» .....	31
Пустыри .....	31
«Еще приметен трепет птичий...» .....	33
Родина .....	34

## Из «Тетради второй»

«Поэт имеет право нас...» .....	36
«Бить ли камнем по кувшину...» .....	37
«Я – пепел, в сердце нет огня...» .....	37
«Я бы хотел умереть...» .....	37
Теория познания .....	38
Мальчик и Крылов .....	38
Вопрос .....	39
«На свете нет мучительней страдания...» .....	40
Терцины .....	40
Глядя в окно вагона .....	41
Поэзия .....	42

**Из «Тетради третьей»  
Стихи 1955–1956 гг.**

«Вошла в автобусный уют...» .....	44
«Спускался вечер над Москвой...» .....	45
Из «Московских элегий»	
1 «Кто, скажите-ка мне...» .....	45
2 «Грязны были пруды...» .....	46
3 «Есть переулочек в Москве...» .....	47
4 «Вширь города росли...» .....	48
5. Памятник Чайковскому .....	49
Черепки из Харакса .....	50
Галоши (Из Лихтенштейна) .....	50
Кукуруза .....	51
Пейзаж с человеком .....	52
Амок .....	52
Перед клеткою пантеры в зоопарке .....	53
Фотография .....	54
«Я на мир гляжу с опаской...» .....	55
Пицунда	
* «Две тысячи лет для поэта – секунда...» .....	56
** «За эти недели узнал я на деле...» .....	57
*** «Перронный билет! О перронных билетах...» .....	57
«Статейка мудрости полна...» .....	58
«Жизнь гостю предлагает кость...» .....	59
«Я постарел на три годка...» .....	59
Ночью .....	60
Варьяции	
* «Меха раздувают тоски уголек...» .....	60
** «Я видел страшный сон. Во сне...» .....	61
*** «Я остановился на дороге...» .....	61
**** «В многолетнее одиночество...» .....	62
***** «Когда в пустоте зловещей...» .....	62

## СТИХИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В АВТОРСКИЕ КНИГИ

В альбом .....	64
Дочь .....	64
«Хожу ли я, брожу ли я...» .....	65
<Эпиграммы>	
Алехину .....	66
Эйве .....	66
Файну .....	66
Решевскому .....	66
Басня .....	67
«Нет ничего на свете горше...» .....	67
«Я видел вечные льды...» .....	68
Народные дистихи .....	68
Дорога к искусству (Из воспоминаний) .....	70
<i>Вера Калмыкова. «Я большего у жизни не просил...»</i>	
О Владимире Нейштадте .....	105

**Нейштадт В. И.**

Н46 Пейзаж с человеком: Стихи и воспоминания. – М.: Водолей Publishers, 2008. – 128 с. (Малый Серебряный век).

ISBN 978-5-9796-0117-5

Владимир Ильич Нейштадт (1898–1959) известен любителям поэзии как переводчик с немецкого. Однако всю жизнь он писал стихи, которые не публиковались после 1930-х годов, а в 1950-е создал и автобиографию, которая почти 60 лет пролежала в архиве. Книга представляет читателю В. И. Нейштадта – поэта и мемуариста.

ББК 84Р7-5

**Нейштадт Владимир Ильич**

Пейзаж с человеком

*Стихи и воспоминания*

*Литературно-художественное издание*

Технический редактор А. Ильина

Корректор В. Резвый

Подписано в печать 05.01.08. Формат 60x90/32

Бумага офсетная. Гарнитура Баскервиль

Печать офсетная. Печ. л. 4

Тираж 100 экз. Заказ №

Издательство «Водолей Publishers»

119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, 17-Б

тел. (495) 786-36-35. E-mail: [agathon@humanus.ru](mailto:agathon@humanus.ru)

Отпечатано в ЗАО «Гриф и К»,

г. Тула, ул. Октябрьская, 81-а

МАЛЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

**В СЕРИИ ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:**

**Ещин Л. Е.** Собрание стихотворений. 2005. – 80 с.

**Эйснер А. В.** Человек начинается с горя: Стихотворения разных лет. 2005. – 72 с.

**Дураков А. П.** Один из солнечных лучей: Собрание стихотворений. 2005. – 80 с.

**Манухина Н. Л.** Смерти неподвластна лишь любовь: Стихотворения. 2006. – 80 с.

**Эйгес Е. Р.** Тихий шелест стихов: Стихотворения. 2006. – 80 с.

Отдел «Книга – почтой»  
E-mail: [agathon@humanus.ru](mailto:agathon@humanus.ru)

## МАЛЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

### В СЕРИИ ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

**Щиrowsкий В. Е.** Танец души: Стихотворения и поэмы. 2007. – 136 с.

Одним из вершинных достижений русской поэзии в 1930-е годы стало творчество В. Е. Щиrowsкого (1909–1941). Поэт погиб в Керчи под бомбежкой; чудом сохранилась часть его архива. Эта книга – единственное собрание произведений Щиrowsкого. В нее вошли также краткие воспоминания о нем А. Н. Доррер, подруги жены поэта.

**Кржижановский С. Д.** Книжная душа: Стихотворения разных лет. 2007. – 88 с.

Из всех литературных открытий постсоветской эпохи явление С. Д. Кржижановского (1886–1950) из полного небытия было самым ошеломительным. Поэтическое наследие писателя не вошло в собрание его сочинений. Книгу составили стихи, которые Кржижановский еще в 1910-е годы печатал в киевских газетах и потом всю жизнь изредка записывал на полях прозы, а также поэтические переводы.

## МАЛЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

### **В СЕРИИ ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:**

**Сабуров А. А.** Будем с верою радости ждать: Стихотворения. 2007. – 80 с.

Потомок древнего боярского рода; племянник композитора Н. К. Метнера и философа Э. К. Метнера, ученик И. А. Ильина, – кем мог бы стать А. А. Сабуров (1902–1959) в свободной стране?.. А в России его лирика его до сих пор оставалась неизвестной читателям. Основу книги составляет тетрадь стихотворений А. А. Сабурова, датированная 1925 годом.

**Штих А. Л.** Истлевших лет живые сны: Избранные стихотворения. 2008. – 128 с.

А. Штих (1890–1962) если и известен любителям поэзии, то только по биографиям Б. Пастернака в качестве друга его юности и адресата многочисленных писем. Единственная его книга, изданная в 1916 г., сегодня сохранилась в единичных экземплярах. Настоящее издание дает возможность познакомиться с творчеством поэта достаточно самобытного, но так и не узнавшего прижизненной известности.

## МАЛЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

### **В СЕРИИ ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:**

**Скрябин А. Н.** Поэма экстаза. 2008. – 128 с.

Бурный талант А. Н. Скрябина (1872–1915) был на удивление многогранен и синтетичен. Есть в его творческом наследии и стихи. Лучшие из них, вместе с сонетами В. Брюсова, Вяч. Иванова и К. Бальмонта, посвящёнными безвременной смерти гениального композитора, способны прояснить феномен творца-подвижника, Прометея, попытавшегося волшебной силой искусства преобразить мир, пусть даже и ценой собственной гибели.

Отдел «Книга – почтой»  
E-mail: [agathon@humanus.ru](mailto:agathon@humanus.ru)

